

ДЕТЕКТИВНОЕ

РЕТРО

# Дети Рижского Дракулы



Юлия Ли

Детективное ретро

Юлия Ли

# **Дети рижского Дракулы**

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Ли Ю.**

Дети рижского Дракулы / Ю. Ли — «Эксмо»,  
2022 — (Детективное ретро)

ISBN 978-5-04-165521-1

1901 год. Рига. Гимназистка Соня Каплан работает в книжной лавке своего отца, зачитывается романами про сыщиков и мечтает открыть собственное бюро расследований. В гостях у своего учителя она случайно обнаруживает альбом, полный семейных фотографий, на которых его родные брат и сестра изображены состоящими в браке... Пристав, расследуя череду странных смертей, узнает про этот кровосмесительный брак. Кто же позволил им венчаться в церкви? Кто взял на воспитание детей-близнецов? Кто обитает в их старом поместье, отстроенном на развалинах орденового замка? События шестнадцатилетней давности объединяют дочь книготорговца, учителя истории и полицейского чиновника, пытающихся поймать злодея, до ужаса похожего на Дракулу. Увлекательность, захватывающие приключения, колоритные описания реалий времени, хорошее знание исторического материала, эксклюзивная информация о дореволюционной жизни – все это читатели найдут в новом романе Юлии Ли «Дети Рижского Дракулы» из серии «Ретро-детектив».

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-165521-1

© Ли Ю., 2022

© Эксмо, 2022

## Содержание

Глава 1. Соня пишет убийство	7
Глава 2. Как пророчество едва не сбылось	19
Глава 3. Старый альбом	25
Глава 4. На подоконнике Александровской гимназии	39
Глава 5. Штабс-капитан Бриедис	45
Глава 6. Пристав Бриедис расследует дело Данилова	53
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# **Юлия Ли**

## **Дети рижского Дракулы**

© Ли Ю., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

## Глава 1. Соня пишет убийство

*«Данилов вышел из учительской позже обыкновенного. Звонок отзвенел, в коридорах и рекреациях женской гимназии не должны толпиться беспокойные и шумные «приходящие девицы». Как же невыносимы перемены!»*

*После третьего и пятого уроков устраивались большие перемены по получасу каждая. Настоящая преисподняя! Звонок отгрохотал пятью минутами ранее, но опоздавшие все равно кричали, топали по дощатым полам второго этажа, хлопали крышками парт. Будто молотом по наковальне. Данилов каждого вздрагивания стен и полов ожидал со смирением осужденного под пытками. Он прикрывал веки и наполнял легкие воздухом – вот сейчас: та-дам, бум-трам. Сколько можно?! Он шел, прижимая портфель к груди, плечом припав к выкрашенной в желтую краску стене. Шаг в сторону – снесут и растопчут. Это стадо мамонтих. И классных дам опять нет. Сколько еще идти? Кабинет в конце этажа.*

*Одной рукой сжимая портфель, другой он осторожно и неохотно потянулся к ручке. Но и за дверью: та-дам, бум-трам. Кажется, уронили парту. Парту со скамьей, что прибита гвоздями к полу. Надо прежде распахнуть дверь и швырнуть что-нибудь к учительской кафедре, горшок с цветком сгодится, ведь наверняка готов для Григория Львовича новый сюрприз: польется вода, посыплются откуда-то с потолка на голову старые швабры. Никакой на них управы. Дежурные надзирательницы на все готовы закрыть глаза. Проклятые гимназические порядки, позволяющие шутницам и балагуркам чувствовать себя точно на ярмарке. Базар, а не женская гимназия!*

*Данилов бросил отчаянный взгляд в другой конец коридора, потом за спину, где находилось окно. За стеклом знойный ветерок трепал верхушки акаций на бульваре. А на подоконнике стоял горшок с примулой. Тяжелый. Нет, жаль такого цветка... С богом!*

*И дернул дверь на себя. С закрытыми глазами шагнул в классную комнату. С закрытыми глазами сделал три шага. Ожидал холодной воды, плевков, бумажных комков, думал, поскользнется на чем-нибудь гадком. Потом сделал еще шаг. Портфель прижал к груди сильнее.*

*Шум будто бы на время затих. Григорий Львович чуть приоткрыл глаза, но взглядом уперся в высокую желтую кафедру. До нее еще столько идти! Но преодолел расстояние за один вдох. Опустил портфель на столешницу и замер. Ученицы шумели, но уже не столь отчаянно. Часть, видно, любопытствовала: что же с учителем истории нынче стряслось?*

*Данилов схватил мел и, сделав короткое движение к доске, написал:*

*«23 мая 1901 года*

*Рамсес Второй. Разгром шерданов».*

*По учительской привычке он озвучил тему урока вслух.*

*И эти несколько слов прозвучали призывом вернуться к собственным делам. Данилов по-прежнему не смотрел в класс, он зажмурился, ожидая следующую партию грохота. В то же мгновение – будто пощечина – что-то хлестнуло по щеке, сползло по воротнику, шлепнулось к ногам.*

*Он онемел на мгновение. Глаза не открыл.*

*Медленно стал расстегивать портфель. Рука нырнула внутрь, нащупала спасительную сталь револьвера. Он стал тянуть оружие вверх, и один за другим гасли голоса. Ненужный портфель упал рядом с кафедрой. Данилов, не отдавая себе отчета, отбросил его, веером до самой двери легли тетради, брошюры, бювар, брякнули об пол стальные перья.*

*Стискивая челюсти и сильно сжав револьвер с обоих концов, он преломил ствол. Это был «смит-вессон» – русский «смит-вессон», между прочим, табельное оружие штабс-капитана*

*Бриедиса. Тот вдруг вынул его вчера в кабаке, протянул при всех Данилову и просто сказал: «На, возьми, он больше мне не нужен».*

*Почему отдал? Почему не нужен? Данилов не помнил, потому что так же, как и Бриедис, был сильно пьян. А оружие обнаружил в своем портфеле лишь утром.*

*В кармане тужурки лежала горстка патронов, также милостиво предоставленная Бриедисом. Один за другим, как гасли голоса учениц, Григорий Львович вкладывал патроны в гнезда. Все шесть. Только напугает, и все.*

*Только преподаст урок.*

*Он ощутил холодок у виска, а потом щелчок у уха – взвел курок. Классная комната тонула в тишине. Наконец не страшно поднять глаз. Тридцать удивленных лиц взирали на учителя. Тридцать одинаковых гимназических коричневых платьиц с черными фартуками застыли рядками за партами. Такого послушания и единодушного молчания он не наблюдал никогда.*

*Холодок у виска был так приятен после похмельного жара. Как и эта тишина, и это послушание. Пальцы вдруг судорожно сжались на гашетке...» – чуть повозив под носом карандашом, дописывала Соня. Прикрыла глаза, вдохнула, перелистнула страницу и застрочила вновь, совершенно не замечая на себе пристального взгляда учителя Данилова.*

*«Неведомо, что было первым, – выводила она, закусив от усердия кончик языка, чувство торжественности поднималось из глубин груди к горлу, – дымовая завеса перед глазами или диковинное ощущение проникновения сквозь височную кость в пространство ликвора чего-то холодного и стремительного...»*

*– Софья Николаевна, будьте любезны, чем это вы там заняты?*

*Данилов возвышался над партой Сони и, кажется – услужливо шепнула соседка Полина, – довольно давно. Соня отложила карандаш в сторону и прикрыла ладошками страницу. Не собираясь отвечать, взглянула на учителя снизу вверх, чуть приподняв брови в вопросительно-удивленном выражении.*

*– Позвольте напомнить, вы выпускаетесь в следующем месяце. И следовало бы подумать, как кончите педагогический класс. Ломоносовская гимназия дает право получить звание домашней наставницы или специалистки по истории.*

*Соня понимающе кивнула. Данилов не станет снимать балла за поведение, он вообще никогда не ставил оценки ниже пятерки, не бранил, не наказывал. На его уроках девочки могли вволю сплетничать, меняться местами, глядеться в зеркальце, пока учитель бормотал про гробницы и царей.*

*Ему двадцать пять, но он не выглядит на свой возраст ничуть – сам как гимназист: щуплый, низенький, немногим выше Сони, с тщательно причесанными светлыми волосами, которые слушаться не хотели и точно цыплячий пух норовили вырваться из стройных рядов прически, глаза – ярко-синие, всегда на мокром месте – или это так казалось из-за их цвета. Наутюженная тужурка, вычищенные ботинки выдавали в нем аккуратиста-отличника. Но как бы он ни хотел казаться взрослым, на скулах, тотчас как он начинал нервничать, загорался алый румянец семнадцатилетнего юнца, а лицо, гладкое и без малейшего признака растительности, чаще было робко опущено. Поди, страдал в отсутствии бороды и усов и отчаянно завидовал в этом учителю Закона Божьего. Знал, что не имеет должной учительской власти над своими ученицами, знал, как начинает трясти, едва приходится кого-то отчитывать, поэтому низвел свой гнев до нуля, – если девочка дерзила, тихо велел той сесть и продолжал ученым тоном вещать про Рамсеса, Карла Двенадцатого или Жанну Д'Арк.*

*В этом месяце «историчный» экзамен, приходилось повторять весь курс с третьего класса, так что в бормотании учителя смешались и «рамсесы», и декабристы, и троянцы с трудами Жан-Жака Руссо.*

Соня продолжала прикрывать дневничок ладонями, но ярко-желтая обложка, вся в рюшах, украшенная искусственными цветами, слишком выделялась среди потрепанных учебников на парте.

– Покажите, чем вы заняты, – Григорий Львович требовательно протянул руку к желтым цветам под манжетой Сониной формы. Его щеки угрожающе заалели – верный признак того, что сейчас все силы направит на борьбу с волнением.

Соня не хотела, чтобы Данилов увидел свое имя на листках. У Сони был крупный почерк, а когда она писала в запале, под вдохновением, то буквы выходили круглыми и гигантскими. Она быстро захлопнула свой пухлый дневничок и слишком смело протянула его Данилову. Он не возьмет – велит отложить или убрать под крышку парты.

Но на этот раз не вышло.

Григорий Львович вцепился в желтую обложку, грубо вырвал ее из рук Сони, победно развернулся на каблуках и направился к кафедре, а дневник поднял высоко над головой и, словно обращаясь к доске, исписанной его аккуратной рукой, сказал:

– Я буду изымать все сторонние предметы. Не ради себя прошу, но ради вас же самих. Экзамен в будущем месяце, а вы, Софья Николаевна, что помните о Смоленской войне?

Соня тотчас поднялась. Ей следовало потупить взгляд, но учитель так и стоял затылком к классу, так что не было нужды строить из себя послушницу бенедиктинского монастыря. Она перекинулась улыбками с девочками с соседнего ряда.

– А вот и не ответите, потому что романтических книжек о Смоленской войне не написано. Вы же из книжек истории учитесь? «Айвенго» – для изучения истории Англии, «Эдинбургские темницы», «Антикварий», чтобы изучить нравы Шотландии. Вместо учебника географии у вас «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров», людские нравы вы изучаете по романам Эмиля Верхарна, Золя, мадам Сталь, Анатоля Франса, к слову, который, как и ваш батюшка, владел книжным магазином.

– Как и Анатолий Франс, я упаковываю некоторые заказы, – не удержалась от гордого замечания Соня, подмигнув Полине. – Видеть, кто какие книжки читает, – удовольствие особенное.

Да, история была одним из любимых предметов Сони, и изучать ее она предпочитала по романам. Но самое забавное, и Григорий Львович ничем в сем не отличался от ученицы. Он таил в себе ту же пагубную для преподавателя склонность к книгам художественным, хоть на уроках сие не обнаруживалось ничем. Он вел преподавание строго по учебникам, требуя от учениц заучивать целые абзацы, а то и главы. Соня знала обо всех предпочтениях учителя по длинному списку его заказов в книжном магазине отца и часто отдавала тому книги не без улыбки.

«Книжная лавка Каплана» находилась на углу Суворовской и улицы Паулуччи прямо против мощной громады цирка Саломонского. Григорий Львович заходил через день и забирал по два-три тома того же Вальтера Скотта, Жюль Верна и даже Александра Дюма, на которые спускал не только собственное жалованье, но и большее состояние, в недавнем прошлом оставленное ему почившими родителями.

Обернувшись к Соне, Данилов встретился с ней взглядом. Барышня смотрела с вызовом, она не могла сдержаться при мысли о маленьком торжестве над учителем – она владела его тайной, знала, с каким тщанием он скрывает от коллег книжные вкусы, за версту отдающие юношеским романтизмом, с которым учителю давно положено распрощаться. Ей хотелось получить обратно дневничок, который забрать можно, только если Данилов как следует взволнуется. Но сегодня он стойко выдержал взгляд дерзкой ученицы, с силой опустил желтую тетрадку на кафедру поверх папок и бювара, обернулся к доске и стал говорить что-то о Рамсесе.

История была последним уроком, на часах стукнуло три пополудни, Данилов быстро собрал бумаги, книги, прихватил и Сонин дневник. Девушка, поджав губы, проследила за худенькой фигурой в форменной тужурке, проскочившей в двери классной комнаты. «Вот

досада! Ведь он непременно прочтет про себя, про то, как застрелился. И ему не понравится мысль о ликворе, вытекающем из его черепа».

Вместо того чтобы, как и все ученицы, прилежно молиться – уроки в гимназии всегда завершались молитвой, – Соня то и дело теребила кудрявую макушку, пользуясь протекцией большого фикуса в горшке между окнами – блестящие листья надежно укрывали ее от глаз классной дамы. Мысли не давали сосредоточиться на Господе. Украдкой поглядывая на свое отражение в окне, Соня стала строить забавные рожицы. Ей всегда казалось, что она похожа на обезьянку. Черные кудряшки, ныне причесанные волосок к волоску, мягкими волнами обрамляли круглое лицо с курносом носом и большими любопытными, черными, как виноградинки, глазами. Рот был большой, что казалось уродством, зубы широкими, белыми, имели щербинку, которой Соня стеснялась. Она вытянула губы в трубочку и стала возить ими от щеки к щеке, словно пытаясь пристроить наиболее удачным образом под носом.

«Как картофелина», – пронеслось в голове, и палец невольно ткнул кончик носа, украшенный россыпью темных веснушек. Тетя Алиса говорила, что Соня похожа на островитянку, полинезийку, что ее волосам недостает цветка плюмерии, шее – яркой гирлянды, округлившимся бедрам – травяной повязки. А Соне хотелось быть тонколицей блондинкой с фарфоровой кожей, такой, как, например, Мария-Магдалена Караваджо, Прекрасная Магелона, «Офелия» Лефевра или Изольда.

Этот несносный учитель истории, утащивший ее дневник, небось мечтает о прекрасной белокурой даме сердца, читает тайком своего «Айвенго», воображая, как его целует леди Ровена. Соня опять ткнула пальцем в нос. И тотчас же неприязнь к носу перенеслась на учителя, дерзнувшего отнять ее вещь. Пусть же прочтет, как Соня убивает его из «смит-вессона» его же рукой. Ох, ну и шуму будет, если он нажалуется начальнице. Исключат как миленькую. А ну и пусть, Соня всем сердцем желала уйти из гимназии, чтобы закончить курс в Тёхтершуле, как задумывалось раньше, даром что по-немецки трещала не хуже фрау Бергман из дома справа, а потом поступить в Сорбонну. Французский тоже давался Соне хорошо, даже лучше русского благодаря легкой картавости.

Но отец не хотел в Европу.

Ему нравилось здесь, в Риге. Он желал пустить в России прочные корни, мечтал о большом книжном пассаже, о филиалах в Петербурге, Москве и Варшаве.

В документах отца было написано «еврей», но он был православным, уважал это вероисповедание, но не верил в Бога и считал себя русским, латышом и евреем одновременно. По воскресеньям семья Каплан исправно посещала церковь Вознесения Господня на Покровской улице у кладбища.

Себя же Соня считала вольной птицей, в любую минуту готовой сорваться и унести вдаль, послав гимназию к чертям, хотя успешно носила маску парфетки – прилежной ученицы, будучи в своих фантазиях настоящей мовешкой. Она не видела себя ни русской, ни латышкой, ни еврейкой. Со своей картавостью фантазерка Соня предпочитала быть француженкой, может, писательницей, как мадам де Сталь или Жорж Санд, или мрачным частным сыщиком, как Дюпен, или отважным путешественником, как Филеас Фогг.

Спустившись с крыльца гимназии, свернув с бульвара Наследника, она шла по Александровскому бульвару, мимо гостиницы «Империял», размахивая портфелем, продолжая глазеть на свою фигурку в темной гимназической форме с черным передником, мелькающую, точно персонаж из зазеркалья, в многочисленных витринах магазинов, лавок и высоких окнах кафе, раскинувших столики под изящными маркизами. Она никогда не шла домой по короткой дороге через Мариинскую улицу. Обходила кругом весь бульвар Наследника, следом гуляла по зеленому Александровскому бульвару, любовалась цветами у лавки Рауске, заходила в Стрелковый парк, чтобы поглазеть, как ведутся работы по сооружению павильонов к Всемирной выставке, и только потом шла на Паулуччи.

А нынче замедлила шаг у Венской кондитерской, борясь с искушением купить булочку с бело-розовой блестящей глазурью. Отец небось дожидается голодный, мама еще не пришла: ее портняжная мастерская располагалась в доме Рейдлиха со входом со стороны Бастионного бульвара, рядом с мастерской Гросса, изготавливающего мужское платье. Раньше семи мадам Каплан домой не являлась. Она закончила курс по изготовлению дамских костюмов, верхних платьев и черчению эскизов, с ночи до утра работала в мастерской на пару с двумя помощницами и очень обижалась на Соню, что между портняжным делом и книготорговлей дочь выбрала второе.

Что делать, если книги любишь больше, чем платья? Любовь к платьям всегда заканчивалась слезами, поскольку наряды редко когда сидели ладно. А для того чтобы они сидели ладно, приходилось ограничивать себя в походах в Венскую кондитерскую, мимо которой Соня ходила ежедневно по два раза на дню. Книги никогда не требовали таких жертв.

После хлопот на маленькой кухне на втором этаже Соня осталась, по обыкновению, одна за прилавком, отец поднял стопку книг, упакованную в плотную вошеную бумагу и перевязанную двумя слоями бечевки, и, кинув за плечо, что вернется не ранее восьми, хлопнул дверью. Его уход проводил звон дверного колокольчика.

Соня любила эти тихие часы уединения среди полок с книгами. Она снимала ботинки, надевала теплые шерстяные носки и домашние туфли – в магазине всегда было прохладно, книги не терпели высоких температур, – распускала тугую гимназическую прическу, заставляющую ныть голову, заплетала небрежную косу и, поленившись сменить форму на домашнее платье, обходила с лейкой все кадки, расставленные маменькой в день, когда лавка перешла от деда к отцу. Книжный магазин Каплана был тем особенным, что утопал в листве гибискусов, фикусов, лимонного дерева и монстер, которые, по словам маменьки, поглощают яды, выделяемые книгами.

Насытив влагой зеленых монстров, Соня принималась за любимое. Разбирать книжные завалы было ее тайным удовольствием. Она брала корзину, складывала в нее многочисленные издания, которые повытаскивали покупатели, разбросанные на прилавке, у витрин, на столиках в уголке для чтения. Обходила стеллажи, взбиралась на лесенку и расставляла книги по местам. Иногда она останавливалась у стекла и глядела, как по весне шумел Верманский парк на углу Суворовской улицы, как медленно тянула лямку конка, как обгоняли ее пешеходы, коляски и двуколки, садилось солнце, окрашивая пол в магазине нежно-персиковым, будто глазурь на булочке из Венской кондитерской.

Если повезет сегодня и останется немного времени, а тишину не нарушит случайный посетитель, она усядется с чашкой чая в кресло у витрины, в углу которой цветет лимонное дерево, подождет продрогшие ноги под себя, достанет недочитанный роман юной Мэри Шелли про изобретателя и наконец узнает, смог ли Виктор Франкенштейн смастерить своему детищу подружку.

Но едва успела Соня прибраться на прилавке, разобрать коробку с новыми каталогами, сложить открытки, как колокольчик звякнул вновь.

Наверное, отец. Соня даже не подняла головы, все еще лелея мысль о Франкенштейне. Николай Ефимович был очень забывчивым и наверняка за чем-нибудь вернулся. Но слух ее поразил звук других, не отцовских, но в то же время до ужаса знакомых торопливых шагов. Сердце сковало страхом, потому что эти шаги не предвещали ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего.

И прежде чем ее кудрявая, лохматая макушка медленно приподнялась над прилавком, Соня успела понять далеким задним чувством, что это мог быть только один человек. Перед самым закрытием магазина заходил учитель Данилов. Она высунулась из-за прилавка, как суриката из норки в пустыне Калахари, и тотчас нырнула обратно. Григорий Львович успел заметить это движение макушки нерадивой ученицы. А Соня, в свою очередь, успела заметить

в его руке свой дневник. Мысленно она возблагодарила Бога, что Данилов не повстречал на улице отца, иначе бы он не занес тетрадь в магазин, вручил бы ее там.

– Могу я говорить с Николаем Ефимовичем?

Соня на мгновение заколебалась, а потом, решив, что у нее еще целый час форы, если верить отцу, вновь выросла над прилавком.

– Добрый вечер, Григорий Львович. Чем могу быть полезна? Отца нет, понес заказ покупательнице. Вернется... – Она замялась на секунду, решая, как надолго можно было отослать родителя, чтобы учитель не заподозрил вранья. Хотелось бы сказать, что вернется он через неделю, а лучше год. Но Соня всхлипнула и сказала правду.

– Готов ли мой заказ? – тотчас спросил он.

– Да, Григорий Львович. – И Соня поспешно подняла на прилавок три увесистых тома энциклопедии под редакцией Южакова: 17-й «Сальвадор по Статистика», 18-й «Статистика по Ундозеро», 19-й «Ундозеро по чахары», аккуратно перевязанные бечевкой. Книги ждали своего заказчика уже сутки.

– Папенька велел передать, что остальные еще в пути. – Соня стала поправлять перевязь, затягивать узлы ту же, чтобы по дороге книги не вывалились на мостовую. – К будущей среде обещали доставить. Вам еще шесть книжек осталось – и коллекция станет полной. Красивая энциклопедия. – В облегчении Соня принялась стрекотать все скорее и забористее, расслабляясь и чувствуя себя за родным прилавком свободнее, нежели за партой или у доски. – Только бы знать, что это такое – Ундозеры и чахары. Смешно звучит, правда? Чахары и ундозеры. Как какие-нибудь страшные монстры из книг Артура Мэкена или Амброза Бирса. Читала я его «Проклятую тварь»... Ой, простите, слово нехорошее, но какое есть! Такая жуть. А вот еще писатель – его книжки на французском всегда заказывают студенты Политехникума, – Альфонс Алле. Но у него кроме всяческих страшных рассказов есть и забавные анекдоты... Но чтобы чахары!

И негромко, манерно, как ей казалось, рассмеялась, подражая подругам матери, собравшимся за чашкой чая.

– Монгольское государство мы проходили совсем недавно, Соня, – глядел на нее Данилов со странным выражением в лице – не то с испугом, не то с недоумением, не то сейчас расплатится.

– А... – выдохнула девушка. – Точно ведь, чахары... – упорно делая ударение на первое «а». – Вспомнила.

Данилов, не меняя выражения лица, поправил ее:

– Осрамите меня перед всеми, Соня. И не известно? Какая из вас специалистка по истории выйдет, коли вы не знаете, кто такие чахары?

Соня опустила глаза. Думала, переждет, пока учитель не закончит нотацию, но что-то вдруг так стыдно стало, аж щеки запылали. Стоят они не в классе у доски, а в царстве книг. Всюду полки, корешки, книги аккуратно расставлены отцовской рукой, разноцветье обложек непременно туманных, осенних оттенков, будто чудные горизонтальные лесенки. И тихий весенний вечер. А она не знает, кто такие чухары, ой, то есть чахары. Захотелось вдруг пообещать себе, что непременно станет внимательней на уроках. И прочтет всю эту энциклопедию, которую вперемешку с Жюлем Верном, Стивенсоном и журналами, в которых печатались романы с продолжением, месяц за месяцем по тому, по два-три забирал из магазина учитель истории.

– Ундозеры – что такое? – вырвалось у Сони. Одновременно она подняла глаза и уставилась на свой желтый дневничок в руке Данилова.

Тот, продолжая хмуриться, положил его поверх перетянутой бечевкой стопки, поднял книги и двинулся к двери.

– Ундозеро, – буркнул он, – это озеро в Архангельской губернии. – И вышел.

Унес дневничок! Унес, не вернул.

Сердце Сони застучало. Вдруг страсть как захотелось, чтобы он не увидел ее рассказ про револьвер и продырявленный череп. Ведь судя по тому, что он не явился в гневе, не стучал кулаком по прилавку, не требовал немедленного появления отца, благородный учитель истории дневника не открывал. Конечно же, не открывал! «Читать чужие записи – это же так, э-э... как там маменька любит говорить?... – неделикатно!»

Соня осталась в тишине книжного магазина, и книги продолжали укоризненно глядеть на нее с полок. Она могла поклясться, что слышит полные упреков голоса мистера Рочестера, Эдмона Дантеса, Сайреса Смита, Гуинплена и Дон Кихота. Все они хором кричали: «Соня, стыдно!»

Идея возникла тотчас же. Броситься следом, попросить извинений, побожиться, что примется за учебу, и слезно молить вернуть тетрадку. Соня нашарила под прилавком ботинки, натянула их поверх шерстяных носков, схватила шляпку-канотье и бросилась к двери.

Под дверным колокольчиком столкнулась с матерью.

– Здравствуй, Софьюшка. Куда так спешишь? – недовольно нахмурилась та, поправив на темных волосах шляпку, от столкновения с дочерью съехавшую набекрень.

– Покупатель забыл... открытку выронил из портмоне. – Девушка незаметно стянула одну за спиной с круглого столика, где были разложены для продажи поздравительные открытки всех видов, и показала ее матери.

– Ах, Софьюшка, ну где твои манеры? Умение держать себя? Сколько можно говорить? А ты запыхалась, опять растрепана.

– Ну, маменька... Потом ведь скажут, что у Каплана обкрадывают.

– Давно ли ушел твой покупатель? – со вздохом принятия спросила мать, оправляя белую блузку с модной ныне «голубиной грудкой». Юбка мятного цвета волнами спускалась вдоль ее стройных бедер. Соня невольно распрямила плечи. Всегда при взгляде на мать ей хотелось казаться стройнее и выше.

– Да только что! Неужто вы, маменька, не видели выходящего из магазина?

– Ну, беги, догоняй, – отмахнулась та и прошла внутрь, но угрожающе обернулась: – До семи чтобы воротилась обратно. Не хватало опять выслушивать от классных дам выговоры, что разгуливаешь вечерами одна. Третьего дня видела тебя Алевтина, учительница литературы, в магазине Карро. Чего мне стоило уговорить ее не выдавать начальнице. В следующий раз молчать не стану, и отцу влетит за тебя. Все он виноват, эксплуататор, тиран.

Соня сделала неловкий, торопливый книксен и скользнула в дверь. Ох, будет же маменька молнии метать, когда про дневничок узнает.

Фигура в темной форменной учительской тужурке мелькнула на углу напротив Риги-Динабургского, теперешнего Двинского, вокзала и зашагала по бесконечной артерии Мариинской улицы. Под мышкой учитель Данилов держал три толстых тома энциклопедии, желтая тетрадка уместилась поверх всей этой тяжелой кипы и основательно съехала к локтю. Он скользнул мимо гостиницы Бель-вю, часовни на Привокзальной площади, мимо крыльца полицейского управления, шел под тяжестью высоких доходных домов и контор, расцвеченных во все цвета радуги, подражающих знаменитой рижской композиции «Трех Братьев» и с непременными не менее цветастыми вывесками над рядом окон на первых этажах, двинулся дальше к закрытой ныне станции Туккумского вокзала.

Мариинская улица плавно втекала в Карловскую.

Сгущались сумерки, толпа редела, лавки, конторы закрывались, кофейни, рестораны, напротив, зажигали окна, пару раз проплыла, покачиваясь, неспешная конка № 3, носились одноместные фаэтоны. Учитель Данилов, не сбавляя темпа, торопился куда-то вперед вдоль железнодорожных путей.

Соня следовала за ним, отставая шага на четыре, прячась за парой, разделяющей ее и объект слежки: господин в черном пальто и котелке, дама в светлой накидке, с корзинкой цветов под локтем. Пара шла в темпе Данилова, видно, куда-то тоже спешила, но, как быстро бы она ни шагала, Данилов значительно от нее удалялся. Соне приходилось выглядывать то чуть ли не из-за плеча господина в черном пальто, то из-под корзинки, что держала дама, чтобы случайно не упустить из виду желтый дневничок под мышкой у учителя.

Обложка того была размером в половину меньше объемных томов энциклопедии, дневник все съезжал и съезжал вниз, даря Соне надежду, что в конце концов он выпадет из-под локтя и окажется на тротуаре. Тогда не нужно будет сопровождать учителя до самого его дома.

А если Господь не поможет бедной тетрадке выскользнуть на брусчатку, придется идти до Господской улицы, где в самом ее центре, окруженный дивным садом, стоял высокий трехэтажный дом в голландском стиле с ризалитом, мансардой, квадратными башенками, островерхой кровлей, выкрашенной в ярко-алый цвет, и большой красивой птицей-флюгером на самом высоком шпиле. В нем проживало третье поколение Даниловых, обосновавшихся в Риге еще в Наполеоновскую эпоху.

После окончания войны 1812-го года Даниловы открыли в городе первое предприятие, купили особняк, отстроенный приезжим купцом в восемнадцатом веке, потом подросло второе предприятие, третье. Теперь семья Даниловых владела тремя фабриками, пивным и лакокрасочным заводом, несколькими артелями.

Только сейчас Соня вдруг вспомнила, каким непростым человеком был их учитель истории.

Фамилия Даниловых знакомым изящным росчерком красовалась на блюдах и чашечках в посудном наборе ее дома, на красивых блокнотах и записных книжках, на красочных жестяных коробочках из-под вафель, какао и шоколадных конфет, на упаковках водяных красок и пастели, которые отец закупал в больших количествах вместе с книгами, бумагой и чернилами.

Соня жила, не особо замечая, что ее окружали товары производств одной из самых богатых семей Риги. Даниловский фарфор, даниловское пиво, даниловские вафли, шоколад и какао с длительным сроком хранения. Даниловские писчебумажные товары: записные книжки, обитые тканью до того мягкой и приятной к прикосновению, что не отличить от телячьей кожи, но чрезвычайно дешевые, так что можно было их всегда, не жалея, использовать. Славилась и подарочные издания сказок, выпускаемые небольшим издательством при сей фабрике. А лакокрасочный завод в Митавском форштадте, в Зассенгофе, выпускал помимо эмалей и лаков акварель, медовые краски, масло и пастель. Имелась у Даниловых и швейная артель по производству дорогих штор и гардин.

Но вот беда: род их готов был завершиться на учителе Григории Львовиче, беспечно спускающем состояние на книги. Соня часто слышала от отца, не без вздохов сожаления, что в большую трудность угодила одна из самых состоятельных семей Риги, в руках которой было производство товаров, без коих невозможно представить себе жизни. Всеми любимые даниловские вафли и какао, даниловская акварель, даниловские писчие принадлежности иссякали на прилавках. Приостановила производство штор артель, закрылся большой магазин фарфора на углу Николаевской улицы и Бастионного бульвара.

Только торговле пивом не вредила беда Даниловых, пивоварней хватало в городе с головой. Ходил слух, что завод выкупил какой-то немец. А вот Русские университетские курсы и Александровская гимназия могли потерпеть немалые убытки, им Лев Всеволодович, отец учителя, оказывал большую финансовую помощь. И смерть его наверняка повлечет за собой обеднение оных учебных заведений, если Григорий Данилов не вступит во владение наследством как полагается. Ныне же всеми фабриками, заводами и артелями продолжал заниматься старший приказчик Даниловых, немец Дильс, который после ухода хозяина, говорят, сильно сдал и едва протянет еще долго.

Родители учителя истории скончались один за другим с промежутком всего в несколько дней года два назад. Обоим было чуть ли не под семьдесят. Первые их дети жили обособленно и умерли в самом расцвете молодости. Старший сын пропал без вести, отправившись добровольцем на Балканы, или же умер от тяжелой болезни, от лепры или чахотки, никто не знает наверняка, а дочь вышла замуж за англичанина и жила тихой семейной жизнью некоторое время где-то за городом. Оба учились в Европе, не то в Париже, не то в Лондоне, и слыли теми еще оригиналами, основательно подпортившими психическое здоровье богатых родителей.

Их смерть оставалась черным пятном на репутации семьи. Но какого свойства это черное пятно, Соня не знала и не особо интересовалась, равно как и тем, чьи вафли она ест на завтрак и в записной книжке чьей печатной конторы ведет записи. В отличие от старших, младший, Гриша, учился в Москве. Наверное, Даниловы смогли уберечь его от чужаковости, которой, по словам Сониного отца, рано или поздно заболевают все студенты заграничных школ.

– Самое верное образование способна дать одна только библиотека, – любил говаривать Каплан, не кончивший даже гимназии, но знавший больше, чем любой профессор Сорбонны.

После почтовой конторы Соня завернула за угол и оказалась на тихой Господской, вновь поймав взглядом фигуру в учительской тужурке. Пара перешла дорогу и двинулась дальше. На Господской Соня выбрала даму, вышагивающую в светло-кремовом «лалла руке» с индийским орнаментом и расширяющимися книзу рукавами. Широкое пальто позволило некоторое время быть вне озола зрения учителя. Соня шагала в шести футах от дамы, пока Данилов не нырнул за единственную решетчатую ограду, выбивающуюся из стройного ряда кудрявых разновеликих и разноцветных фасадов улицы.

Кремовый «лалла рук» мерно уплыл дальше, а Соня встала у ворот особняка и от удивления не могла двинуться дальше.

Солнце еще не успело окончательно сесть за Двину, его косые лучи скользили по крышам города, появились первые фонарщики и зажгли у дома оба фонаря, свет их тотчас выхватил из тени квадратные каменные башенки.

Прежде, когда Соня проходила мимо особняка купцов Даниловых, она всегда отмечала его богатство и ухоженность. Высокие кованые ворота украшены двумя стоящими затылками друг к другу глядящими вверх ангелами – их кудрявые макушки и верхушки крыльев соприкасались, когда створки были притворены. От них шла к дому широкая подъездная дорожка. Кусты по обе ее стороны всегда были замысловато подстрижены, статуи и мраморные скамейки сверкали чистотой, фасад светел, дорожки вычищены, в пруду плавали мандаринки, за оградой бегал веселый спаниель.

Но ныне... ныне ворота оплетены сухим вьюном, и ангелы казались паладинами в обветшавших хламидах. Подъездная дорожка исчезла, утонула. Сад был в таком запустении, что весеннее цветение захватило его целиком и полностью, будто в окрестностях замка спящей красавицы. Шиповник и спирея, гортензии и желтая сантолина – все разом дало такую буйную поросль яркой, сочной зелени, что за калиткой было почти не разглядеть каменной дорожки и двух мраморных нимф по ее бокам, вознесших руки к вискам будто в мольбе спасти их от участи утопленниц. Буйство зелени дотянулось до плеч статуй и готово было поглотить с головой.

Деревья не подстригали лет, казалось, сто. Ветви свисали черными змеями до самой травы, поднимались к окнам третьего этажа и со скрипом терлись о потрескавшиеся деревянные рамы и пыльные стекла – для этого доставало и небольшого дуновения, прилетевшего с Рижского залива или с Западной Двины. В бликах фонарного света и исчезающих солнечных лучах зрелище было жутковатое, под стать Ле Фаню с его рассказами о привидениях.

Соня искала глазами свет в окнах. Но деревья не давали хорошо разглядеть фасад. В ветвях застрял какой-то мусор: тряпки или скомканная бумага, прошлогодняя, не опавшая, так и завядшая на ветках листва свисала вперемежку с новой, зеленой. По краям крыши зловон-

ным полотном стекал толстый пласт гербария, давно превратившегося в плотный перегной, он забил собой желоба и водосточные трубы.

Внезапно зажегся свет в одном из окон на первом этаже, мелькнул внутри дома темный силуэт. И свет погас. Следом свеча загорелась в комнате второго этажа и опять померкла, словно ее кто-то вынес. Видно, Данилов обходил свои владения: свеча показалась в следующем окне, какое-то время горела, а потом исчезла и вспыхнула в полукруглом окошке правой башенки. Соня могла видеть горшок с фиалками на подоконнике, лепнину потолка и слетевшую с нескольких петель гардину из нежно-голубой органзы, печально повисшую, как поломанное крыло большого мотылька.

Ангелы на воротах держали в руках, изящно убранных за спину, большой навесной замок, но калитка справа была без затвора. Толкнув ее, Соня обнаружила, что та не только не заперта, но и не притворена плотно. Сад встретил ее оглушительным концертом цикад и лягушек, запахло тиной – видимо, где-то под буйством зелени был погребен прудик, в котором давно перевелись мандаринки, уступив место жителям со склизкой зеленой кожей, бородавками и длинными языками.

Продвигаясь к крыльцу, с неохотой и ужасом Соня осознавала, что учитель истории два года жил здесь один. Один-одинешенек! У него ведь даже сторожа не было, который уж подмел бы старую листву с каменных ступенек. Громко хрустя мусором под каблуками, Соня стала подниматься, одновременно придерживая на голове канотье, поскольку диковинное дерево, будто ночной привратник, тотчас запустило кривые ветви-щупальца в голову незваной гостье, останавливая ее.

Встав у двери – большой, двустворчатой, с тонкой резьбой, издали напоминающей амбарную, – она в нерешительности постучала. На стук никто не явился. Постучала еще раз, громче, но опять же Данилов не услышал. Как он мог что-либо слышать, находясь в правом крыле этого далеко не маленького дома? И Соня разрешила себе войти. Петли жалобно скрипнули, когда она потянула створку. Замерев на минуту, тяжело дыша от страха – ведь она сейчас проникает в чужой дом без разрешения! – Соня расширила проход до двух футов и протиснулась внутрь, решив, что лучше дверь больше не трогать.

И смело шагнула в темноту, терпко пахнущую пылью и ветхостью.

В голове промелькнуло воспоминание о привидениях. К своим восемнадцати Соня еще не успела окончательно утвердиться в мысли, что их не существует. В прихожей было темно. Свет фонарей не проникал сюда из-за обилия заслонивших окна ветвей; стекла стрельчатых окон покрывал толстый слой пыли. Как же можно было так запустить собственный дом!

Две чуть приоткрытые двери справа и слева вели не то в кухню, не то в комнату швейцара – темно, не разберешь. Но дом был той особой планировки, свойственной старым голландским домам, в которых комнаты запутаны самым немыслимым образом. Справа от прихожей лестница, обрамленная резными деревянными перилами с фигурными балясинами, поднималась куда-то в царство мрака, сгустившегося под потолком. Ей-богу, дом Ашеров, не иначе.

Чтобы добраться до засевшего в правом крыле учителя, нужно было подняться на второй этаж, пройти по запутанной анфиладе залов, кабинетов, будуаров. Ноги миновали несколько сухих ступеней, а сознание трусливо тянуло к порогу.

И Соня повернула обратно. Пришло горькое понимание, что, поддавшись глупой девичьей жажде приключений, она зашла слишком далеко и увидела слишком много. Завтра она обязательно расскажет Полине, соседке по парте, что проследила за Григорием Львовичем и теперь знает, где тот живет, и даже побывала в его прихожей, в крошечной тьме. Может, и наврет, что видела привидение, и красочно распишет, как бежала со всех ног. А может, и смолчит – уж больно грустно все это...

Поздно, отец наверняка вернулся. Ругать не будет, но встретит взволнованным молчанием. А вот мама обязательно отвесит подзатыльник и заставит после школы перебирать лоскутья в ее мастерской. Соня тихо отступала назад.

Вдруг за дверью слева что-то зашевелилось, раздались два отчетливых шага, осторожных, но увесистых, затем кто-то задел какой-то предмет мебели, заставив его недовольно скрежетнуть по полу, усеянному пылью и мусором. Соня была все еще одной ногой на деревянной ступени лестницы, когда из-за двери высунулась чья-то голова. Высокий мужчина – футов шесть, не меньше, – оглянувшись на большую входную дверь, вышел из темноты в узенькую, едва заметную полосу света, просачивающуюся сквозь запыленное стекло. Свет на полу извивался, подражая шевелению ветра в ветвях. До того как мужчина ступил в центр прихожей, Соня успела спрятаться под лестницей. Места там было мало, колени и носки ботинок предательски выпирали, но узкая полоса света отступала от ее убежища на добрых пять дюймов, колени укрывала тьма. Выглядывая из своего убежища, она заметила чуть поодаль от дверей два запыленных зеркала в бронзовых рамах. И в одном из них фигура высокого мужчины отражалась так ясно, будто он стоял рядом. С ужасом Соня увидела в правой его руке револьвер с круглым барабаном.

«Вот дурень, взял бы нож, револьвер – штука не тихая», – пронеслось в голове. Соня уже собралась отчитать себя за эту бесстыдную мысль, как лестница над ее головой заскрипела, застонала и заохала. Вор или бандит принялся подниматься.

«Тут лучше заставить Данилова застрелиться и тихо выскользнуть вон. Полиция решит – самоубийство». – Сердце стучало от страха, а голова Сони просто распоясалась сегодня. И что это ее так к холодному оружию и убийствам тянуло? И вдруг она с ужасом вспомнила, как сегодня в своем дневничке описала, как Данилов стреляется. В красках, со всеми страданиями. И еще Бриедиса приписала – это был отцовский знакомый, Эдгар Кристапович, полицейский чиновник, не просто городской какой-то или надзиратель, а большой человек – сейчас уже начальник рижской городской полиции, у которого был свой кабинет в полицейском управлении на углу Театрального бульвара в новеньком, только что отстроенном здании.

Как-то у цирка случилось покушение на одну высокопоставленную особу, чиновника губернского правления, и папеньку понятым позвали. Соня тоже рядом вертелась, ей семь лет едва стукнуло. Полицейский чиновник, тогда еще пристав второго городского участка, очень грозный латыш с усами и в мундире, с Соней говорил неожиданно ласково, не погнал девочку вон, а, напротив, терпеливо отвечал на все ее детские вопросы, хотя было вовсе не до них.

Наблюдать за расследованием оказалось страшно интересно, Соня проявила живейшее любопытство, а папенька не преминул оное поощрить, тут же по возвращении в книжную лавку, на свою беду, показал много занимательных книжек, в которых умный и находчивый сыщик, такой как Бриедис, расследует запутанные преступления.

До сих пор у Сони под кроватью, на подоконнике, на этажерке и прикроватной тумбочке соседствуют «Дюпен» Эдгара По с «Каледом Вильямсом» Уильяма Годвина и «Лекоком, агентом сыскной полиции» Эмилио Габорио, «Лондонские тайны» Поля Феваля с «Парижскими тайнами» Эжена Сю, а на самом почетном месте – под подушкой – «Записки Видока, начальника парижской тайной полиции». «Терезу Ракен» Золя, «Преступление и наказание» Достоевского и «Концы в воду» Ахшарумова вперемежку с легким чтивом подсовывал дочери Каплан. Новеллы Джозефа Ле Фаню Соне подарила тетя Алиса в надежде, что увлечение сыщиками поможет девочке подправить английский, бывший у нее самым слабым. Впрочем, Соня прекрасно читала на четырех языках и невольно выучила грамматику английского, немецкого, французского и русского только благодаря своей неумейной страсти к сыщикам, лихо расследующим запутанные преступления.

Бриедис жил в доме напротив, у цирка, с сыном старше ее на восемь лет, Арсением, Сенькой его звали. Соня носила им книги, канцелярские принадлежности, заказанные в лавке

отца. Арсений сначала юнкером ходил, после поступил в академию, а потом ему дали штабс-капитана, и он вовсе куда-то делся.

Так и осталось в памяти у Сони: штабс-капитан Бриедис.

Она призадумалась. И зачем ей понадобилось вот так приписывать Бриедиса к ее выдумке? Наверное, старая непрощенная обида сказалась. Арсений тоже страстно увлекался полицейскими романами и открыто мечтал стать сыщиком, когда-нибудь занять место отца или возглавить сыскную полицию Риги. Да только чем старше становился юноша, тем заносчивее казался.

Плохо было, что и старый Бриедис штабс-капитаном значился. Правда, отставным, его потом в большой гражданский чин возвели. А привлечение фигуры чиновника из полиции – дело неприятное и серьезное. Этот пришелец сейчас застрелит учителя, зачем – неведомо («Хотя почему неведомо? – подал голос внутренний Дюпен. – Он – последний в роду Даниловых, наследство – фабрики, заводы и артели!»), а вину свалят на бедного Эдгара Кристоповича и на... Соню.

Соня выскочила из-под лестницы и бросилась в проход, что располагался справа от входной двери. По дороге она основательно потопала ногами по паркету, вздымая тучи пыли и тотчас закашлявшись. Неизвестный с револьвером, достигший средней площадки, обернулся, замер. Соня успела проскочить за дверь внутрь маленькой комнатки, ведущей в уборные. Сердце прыгало, как пойманная мышь в детских ладошках. Убийца тоже видел зажженную свечу на верхнем этаже башенки и не ожидал кого-либо застать в темноте прихожей. Он сбежал на пять ступеней вниз, вновь замер, приглядываясь. Соня затаила дыхание за стенкой, голова кружилась от страха. Если он сейчас не уйдет, она с шумом повалится в обморок.

Словно услышав внутреннюю мольбу девушки, какие-то неведомые вселенские силы вытолкнули преступника вон за тяжелую амбарную дверь на крыльцо. Со стороны сада слышались шорох и шелест подошв убегающего, следом лязг железной калитки. И воцарилась благословенная тишина.

Соня медленно опустилась на колени и стала шепотом читать «Отче наш». Прочла три раза, только тогда успокоилась.

Что теперь? Идти наверх, к Данилову, все ему рассказать?

Ну уж нет, спасибо. Домой!

«Я ему жизнь спасла! – неистово орал внутренний голос. Соня понеслась на улицу Пауллучи скорее ветра. – Я спасла учителя истории от смерти. Он мне как минимум пятерку обязан поставить на экзамене».

## Глава 2. Как пророчество едва не сбылось

Классная комната, залитая светом утреннего солнца, постепенно теплела, чисто вымытые стекла в окнах взрывались бликами, цветы в кадках лучились сочно-зеленым сиянием, деревянные панели источали терпкий аромат смол и лака. Соня чувствовала, как в воздухе запахло приближающимся летом и приключениями, она не могла слушать урок, а все думала о заброшенном доме, где жил Данилов. И с нетерпением ждала первой перемены или момента, когда учительница покинет кабинет.

Наконец на последней четверти часа в дверях возникла классная дама в неременном синем платье с белым воротничком и взволнованно шепнула что-то Алевтине Сергеевне. Та спешно положила мел у доски, остановилась, наказав девочкам разбирать одну из од Ломоносова самостоятельно, и вышла. Как только дверь закрылась, началось движение, напоминающее бурление чашки шоколада: девочки, облаченные в одинаковую коричнево-черную форму, зашушукались, зашуршали, задвигались. Заниматься самостоятельно разбором поэзии Ломоносова никто не собирался. Задание учительница дала машинально, верно, потом и не вспомнит о нем. Соня повернулась к Полине:

– Ты что-нибудь знаешь о нашем учителе истории?

– О ком? – нехотя отозвалась та; как и Соня, Поля отставила перо и тетрадь.

– Он вчера у меня тетрадку отнял.

– А, ну... знаю немного. То, что и все знают.

– Расскажи.

– Он же тот самый, младший Даниловых – вафли, шоколад... Это его детская физиономия красуется на жестяной банке из-под какао, – фыркнула Поля.

– То мне известно. Хотя я никогда и не задумывалась, готовя какао, что светловолосый мальчик в коротких штанишках и курточке – это наш историк. – И обе прыснули со смеху.

– Мать его сама занималась придумыванием того, как все их жестяные коробочки выглядят. Он небось чувствует себя большой знаменитостью.

– Это бесспорно. Ходит царьком.

– А еще... он вроде как болен был в детстве. Отставал в развитии и лечился в Швейцарии.

– По правде говоря, это заметно.

– Ростом не вышел, но учился хорошо. Иначе бы не взяли в преподаватели.

– Взяли, – фыркнула Соня. – В женскую гимназию взяли, видно, считая, что нам преподаватели нужны только отстающие в развитии и... недоумки. Даром что сынок богатеньких купцов.

Все же, прежде чем вылетело гневное слово, за которое, наверное, Соня заслуживала розги или гороха в углу, она на секунду замялась. И невольно пожалела о сказанном.

Соня всегда немного недолюбливала этого невысокого светлोलобого мальчишку с коробки из-под какао. Не получалось смотреть на него с уважением и подобострастием, с каким требовали взирать на себя учителя. Она не раз слышала от других советы Григорию Львовичу быть строже, не спускать с рук баловства и прочее. За то, что девочки позволяли себе на уроках истории, в меру строгая Алевтина Сергеевна отхлестала бы по щекам.

У Данилова всегда было шумнее и утомительней обычного, трудно было собраться с мыслями. И вина за то, что Соня не любила уроки истории, отчасти лежала на его плечах. Если бы хоть раз он повысил голос, несносные стрекотуньи замолчали бы. Хоть раз бы кого в угол на горох поставил! Не имел бы привычки бубнить урок себе под нос во всеобщем шуме, может, Соня начала бы его слушать. Учителем он был абсолютно никудышным. А уж умен ли и образован, как о нем отзывался весь штат преподавателей, понять было трудно, он не оставлял шанса услышать себя.

Со вчерашнего вечера в сердце Сони поселилось иное к нему, неведомое доселе чувство сострадания.

Прежде он был неким бесцветным пятном, мелькающим перед доской, иной раз среди полок магазина отца. Вчера Соня увидела, как этот человек живет. Она увидела воочию, как живет тот, кто потерял разом семью. И в сердце поселилось чувство холодного, распирающего, недоброго и неуютного потрясения. Не страха, нет, тревожного недоумения, возникающего с неизбежным взрослением, осознания, что где-то на земле есть горе, болезнь, старость, смерть. Близкие смертны, здоровье не вечно, мир хрупок. В горе невозможно поверить, его не существует, пока оно случается не с нами.

Она не знала Данилова счастливым и довольным, любимым, обласканным, смеющимся, говорящим громко и уверенно. Не видела его живого любопытства, света в глазах. Она не была знакома с Даниловым во времена, когда его дом был полон голосов: родных, угодливой прислуги, гостей, во времена, когда кухарка наполняла столовую паром и ароматами привычной с детства снеди, когда кучер готовил экипаж к вечерней прогулке в театр, а веселый смех кузин, кузенов, тетюшек и дядюшек, племянниц или племянников оглашал нынче черные от пыли и неуютной темени стены гостиных, диванных, библиотеки, столовой.

Она не знала его настоящим. Григорий Львович начал преподавать спустя три месяца после похорон. Перед классом он предстал бледной, тихой тенью, призраком, которого никто никогда всерьез не воспринимал. Может, его взяли из жалости. Ломоносовская гимназия, как и Университетские русские курсы и Александровская гимназия, была ранее благодетельствована его родителями.

– Что за болезнь? Не знаешь? Как это – отставал в развитии? – не унималась Соня.

Полина насупила светлые брови:

– А может, в его личном деле сказано?

– Наверняка... – блаженно протянула Каплан. – Надо попробовать проникнуть в кабинет начальницы.

– Аннушка тебя на целый день на стул поставит, как бедняжку Элен Бернс, если застанет роющейся в шкафах.

Тут обернулась сидящая спереди Дарья Финкельштейн, дочь обрусевшего немца-врача, числившегося в штате гимназии. Взрослая, невысокая, с двумя черными как смоль косами, отчаянно не идущими ее строгому лицу, с белым, как школьный мел, лбом и чуть высокомерным взглядом она была совершенно не немецкой внешности, но по-немецки спокойной и непоколебимо твердой. Из-за смерти матери Даша пропустила педагогический класс в гимназии и свое свидетельство готовилась получить в двадцать один год с девочками, бывшими на три года ее младше.

– Ты забрала у него свой дневник? – У нее был низкий грудной голос.

– Нет, – скривилась Соня, вспомнив, как вчера дважды упустила свою сокровищницу мыслей.

Даша чуть повела подбородком, выражая сожаление.

Она увлекалась медициной, порой восхищая Соню бесчисленными знаниями во многих областях врачебной науки. Лето она честно проводила не на югах, как все, и не на Взморье, а в городской больнице внештатной санитаркой, в прошлом году и позапрошлом – сестрой милосердия. Отец пристраивал. Потом всем хвасталась: мол, вскрытие позволили делать. Все считали, что она немного врушка, задавака и воображала, раз старше других девочек, нахваталась медицинских терминов и сыплет ими, стараясь скрыть свою странность. Даша ни с кем особо не водилась, считая девочек глупыми маленькими дитятками, тайно курила папиросы марки «Роза», а училась на зависть хорошо, шла на золотую медаль и грезилась о карьере прозектора.

– Не нужно ходить к начальнице, – небрежно бросила она. – Тем более что личное дело Данилова в архиве, а не у нее в кабинете. Да и в личном деле разве такое пишут? Анамнез

хранится у докторов. Подсмотрела я уже у папеньки в бумагах. У Данилова еще в Швейцарии, где он девять лет лечился, диагностировали синдром Лорена – Леви.

– О господи, и что это? – сморщила нос Полина, которая не любила Дашу, но прямо никогда ей не смела показать своих чувств.

– Это гипофизарный нанизм, другими словами, карликовость, – самодовольно провозгласила та. Она полностью развернулась к Соне и ее соседке и по-хозяйски, царственно опустила локоть на раскрытый Полинин учебник литературы. – Но он не похож на обычного карлика. Тело пропорционально, даром что ростом не вышел. Это редкая форма карликовости. Я поискала работу французского ученого Франсуа Лорена – все так и есть. В анамнезе нашего историка папенька тоже написал: синдром Лорена.

Обе девочки ахнули:

– Ты что, видела его... историю болезни?

– Я ее, можно сказать, сама составляла. Если бы папенька Данилова пригодным не объявил, его бы не взяли в штат гимназии. Папенька его полностью обследовал, как оно полагается, я за ним записывала. Экземпляр прелюбопытный.

– Проныра! – восхищенно просияла Соня.

– Люди с синдромом Лорена, – продолжала Даша, довольная тем, что смогла произвести впечатление на девочек, – невысокого роста, щедущие, с тонкими ручками и ножками, недоразвитыми вторичными половыми признаками...

– Фу, – надула губы Полина.

– Чего «фу»? Это значит – ни бороды, ни усов, как у отца Анисима, ему не видать. А ты что подумала? Но и там у него... – Даша многозначительно опустила взгляд к парте, – все очень плохо.

– А отчего это вышло? – Соня поспешила отвлечь рассказчицу от излишеств в медицинских подробностях, чувствуя, как предательски вспыхнули скулы. Даша часто могла рубануть каким-нибудь термином так, что всем сразу делалось неловко.

– Есть под нашими черепушками отдел мозга – гипофиз. Порой там с самого детства вырастает опухоль, которая съедает все соки, должны пойти на пользу роста.

Соня жалостливо вздернула бровями, Полина всплеснула руками. В мысли ворвалось непрошеное воспоминание о вчерашнем вечере, об одиноко горевшем окне в углу башенки, о холодном и темном доме, о грязном крыльце и заросшем саде. Вот несчастье-то: родных потерял, хотят убить, одинок и болен... неизлечимо. Сердце пропустило еще одно впечатление, помимо сострадания, названия сему впечатлению Соня подобрать не могла. Оно становилось невыразимо большим, уже выросло до размеров настоящего чувства и теперь распирало ребра.

Тут Полину позвали с соседнего ряда, она развернулась к парте, стоящей слева, а Соня схватила за локоть Дашу, вызывавшую больше доверия, чем легкомысленная Полина, и потянула к себе, кивком попросив наклониться.

– Я вчера была у него дома, – тихим, заговорщическим шепотом заявила она. – Думала, получится вызвать дневник.

Глаза Даши потемнели от любопытства.

– Он там один, дом запущен... Я зашла и в темноте... напоролась на кого-то с оружием... к нему вот так запросто можно войти... он и дверей не запирает... Напугала вора, вор бежал... Никогда не думала, что буду так жалеть Данилова, – сбивчиво говорила Соня. – Неужели до него совсем никому нет дела?

Даша почесала карандашом за ухом и восхищенно заметила, прищелкнув языком:

– Ты была у него дома? Смело.

Тут вошла Алевтина Сергеевна, и пришлось вернуться к одам Ломоносова.

История шла третьим уроком. Соня отгоняла тяжелые думы о Григории Львовиче. А если он и вовсе не явится в гимназию? А если вернулся потревоженный вторжением Сони вор-

убийца, застрелил Данилова, а в доме на Господской уже давно полиция обыск делает? Или лежит учитель мертвый и никто его не хватился?

Соня шла в естественно-исторический кабинет, судорожно прижимая учебники к черному фартуку, страшась не увидеть сегодня историка.

Все-таки это невероятно бессердечно, бездушно вот так не обращать внимания на страдания своего коллеги. Почему его никто не проведаст? Почему не заставят убрать дом?

Но, к Сониному облегчению и немалому удивлению, Данилов сидел за кафедрой в своей тщательно отутюженной и застегнутой до самого горла тужурке и увлеченно перебирал табели. Девочки заходили в класс, здоровались, рассаживались. Соня, проходя мимо, замедлила шаг. Перво-наперво она оглядела кафедру учителя, а следом его лицо. На кафедре нигде не было ее дневничка, а в лице Григория Львовича – ни тени гнева или следа какого-то жуткого переживания, вроде тех, что остаются после встречи с убийцами. Стало быть, вор вчера не вернулся.

Прозвенел звонок, все расселись, но шум, по обыкновению, не утих.

Данилов поднялся, принялся призывать к порядку своим тихим и беспомощным голосом: «Внимания! Прошу тишины и внимания!» Никто, разумеется, не обратил на него никакого внимания.

Кроме Сони.

Теперь она не могла равнодушно взирать на его несмелые преподавательские потуги, с тревогой смотрела в лицо. Григорий Львович перехватил этот тревожный взгляд и, наверное, расценил его как беспокойство за отнятый дневничок.

– Я отдам его сразу после экзамена, – отрезал он, чуть наклонив голову.

В сердце Сони всколыхнулось пламя ярости. Что?! Это ведь не ранее чем через три недели!

Данилов развернулся на каблуках и, одернув полы тужурки, двинулся к доске. Четверть часа под общую возню, вскрики, хихиканье и щебетание он писал что-то мелом. Соня молча записывала: это была экзаменационная программа. К экзамену теперь следует отнестись серьезней.

Закончив, учитель вернулся к кафедре, стал шарить руками поверх бумаг и табелей, что-то ища, потом сдвинул брови. Соня продолжала следить за Даниловым из-под плеча Даши, неизменно восседавшей перед ней. Он полез в портфель и замер с запущенной в него рукой. Его лицо окаменело, медленно стала сходить краска со скул, глаза сделались большими и прозрачными. Соня никогда не видела его с таким лицом. Это было лицо человека, приговоренного к эшафоту. Не удивление, не страх, но неизбежность, горечь и смирение читались в нем. А еще какое-то дикое торжество. Соня могла поклясться, что если он не разразится сейчас диким хохотом, то самое меньшее поднимет на кого-нибудь указку, выпростанную из своего портфеля, как шпагу из ножен.

Он стоял так минуту. Никто, кроме Сони, не замечал странного выражения лица учителя. Он будто попал рукой в ведро с водой, которая вмиг превратилась в лед, или в его сумке оказался аллигатор, сжавший его кисть челюстями.

Медленно портфель стал соскальзывать с руки Данилова, как большая варезка, пока не обнаружилось, что он сжимает револьвер. Да, самый настоящий револьвер. И не какой-нибудь, а русский «смит-вессон», которым были вооружены все военные и полицейские чины России. Соня хорошо это знала, поэтому в своей миниатюре про самоубийство учителя истории указала именно эту марку огнестрельного оружия.

Дальше все пошло как во сне, а точнее, как по написанному... в треклятом дневничке.

Он стал тянуть оружие вверх, и один за другим гасли девичьи голоса. Ненужный портфель скатился с кафедры. Веером до первого ряда парт легли тетради, брошюры, бювар, брякнули об пол стальные перья.

Стискивая челюсти и сильно сжав револьвер с двух концов, он стал разглядывать его. Потом поднял глаза на замерших в немом ужасе девушек, неумело преломил ствол и высыпал на кафедру шесть патронов. Те высыпались на разложенные табели, два гулко ухнули прямо на пол и в звенящей всеобщим страхом тишине покатались под парты к ногам учениц.

Он поймал ладонью четыре оставшихся, застыл, держа в одной руке револьвер, другую – прижимал к кафедре, будто пойманного зверька удерживал.

А потом принялся вкладывать патроны обратно в гнезда. Один за другим, как гасли голоса учениц, Григорий Львович вкладывал патроны в барабан, в конце, щелкнув, распрямил ствол.

Он смотрел не на девушек, боявшихся пошевелиться и наверняка вообразивших, что безумец начнет палить по ним, он смотрел сквозь заднюю стену, увешанную картами, историческими схемами и портретами греческих философов, писанных углем. В глазах застыло прежнее выражение горькой неизбежности, рот перекосило, в лице появилась совершенно новая для него гримаса: уголки губ сползли вниз, подбородок был поджат и дрожал.

Сейчас стрельнет, сейчас пальнет.

Рука поднималась все выше, ствол тянулся к виску, будто это самая гармоничная и естественная на свете пара – висок и дуло револьвера. И непременно, когда оба эти предмета найдутся рядом, их необходимо приставить один к другому – таков закон природы.

Но дуло остановилось на уровне скулы. В мыслях не дышавшей от ужаса Сони мелькнуло предположение, что учитель намерен прострелить себе сонную артерию. Тотчас отозвался внутренний Дюпен, похваливший за удачную мысль, ведь, пробив сонную артерию, умереть проще, чем стрелять в височную кость. Даша бы непременно присоединилась к мнению Сониного Дюпена.

Пальцы Данилова ослабли, ствол «смит-вессона» стал опускаться.

Данилов положил револьвер поверх табелей. Сел на край стула, опустив руки на колени, как гимназист, и несколько минут приходил в себя, шумно дыша и хлопая ресницами. Краска на лицо возвращалась пятнами, яркими, как цветы гибискуса, на висках выступили капельки пота. Он был похож на перепуганную девицу, и нипочем не скажешь, что минуту назад на девушек смотрел мужчина, решительно настроенный пустить себе пулю в висок. Его лицо изменилось на какое-то время до неузнаваемости, будто телом овладел дух Наполеона Бонапарта, узника острова Святой Елены, или Ганнибала, готового вести войска в наступление. И Соня почему-то обрадовалась, подумав, что глубоко-глубоко внутри учителя запрятан сильный духом герой, ловко прячущийся под маской труса и недотепы, ощутила приятную радость за большую победу человека, переставшего быть чужим.

А сейчас он сидит и в недоумении хлопает ресницами, скорее всего, тоже удивляясь своей новой ипостаси.

Потом он спохватился, принялся поднимать с пола бумаги, что вылетели из портфеля, делал это неспешно, чтобы унять дрожь в руках.

Соня не сразу обратила внимание, как лицо его изменилось вновь, пятна сошли, глаза заблестели испугом: Данилов вынул из общей кучи бумаг небольшой клочок с наклеенными на нем буквами, вырезанными из бумажных афиш, и, держа его перед собой, вернулся за кафедру. Недвижимо он просидел еще минут пять, читая и перечитывая положенный перед собой таинственный манускрипт.

Потом поднялся и вышел. Девочки взорвались возмущенными выкриками. Соня, не теряя время, бросилась под шум и суетою к кафедре.

*«Помоги себе, – плясали уродливые буквы, вырезанные из театральных афиш. – Умри с миром. Или тебе помогут».*

Она прочитала и скользнула обратно к парте, тут же прошептала странное послание сначала Даше, развернувшейся к ней, а потом и Полине, которая так побледнела, что, кажется, лишилась своих веснушек.

– Кто-то из наших, думаете, подложил ему револьвер? – спросила она; ее губы с трудом двигались и посинели, как от холода.

– На меня подумают, – всхлипнула Соня.

– Почему?

– Да я вчера про него написала рассказ... как он стреляется.

Девочки дружно охнули. Даша, знавшая больше, сочувственно поцокала языком. Но сразу же обратила к Соне затылок, ибо вошли несколько учителей и начальница гимназии.

Данилов подвел их к кафедре и показал сначала револьвер, а потом протянул письмо.

И делегация с мертвенно-белыми, вытянутыми лицами покинула кабинет, прихватив и то и другое.

Данилов не вернулся, чтобы закончить урок. Вместо него явилась начальница гимназии, Анна Артемьевна, холодным, равнодушным голосом объявила, что шутника, подложившего оружие в портфель учителя, непременно сыщут, и если это окажется одна из учениц Ломоносовской гимназии, то ей не придется ни экзамены сдавать, ни свидетельства получать, ни танцевать на выпускном балу.

– Попрошу о случившемся не разглашать в ваших же интересах. Ваше будущее свидетельство об окончании гимназии значительно потеряет в весе, если история с револьвером всплывет наружу. Это в лучшем случае. В худшем же – гимназия будет закрыта, штат расформирован. Не думаю, что ученицы из учебного заведения с такой репутацией будут приняты куда-либо доучиваться.

Покинула естественно-исторический класс начальница целиком и полностью уверенная, что выпускницы будут молчать даже под смертельными пытками.

### Глава 3. Старый альбом

Домой Соня вернулась сама не своя.

В голове горело одно: «Иди к нему и обо всем расскажи сама, уговори прочесть дневник, кинься в ноги и умоляй поверить, что не ее это рук дело – настоящее оружие и дрянная записка».

Плохо удавалось держать лицо при проницательном отце. Он, если приглядится, все поймет, и придется Соне выложить как есть историю о измышленном ею самоубийстве учителя. Узнает Каплан, какая у него кровожадная и жестокая дочь, занедужит и... умрет от горя. Соня громко всхлипнула, утерев две крупные слезинки, вдруг повисшие на ресницах.

Но, к счастью, Николай Ефимович был столь занят заказами, что едва поднял голову, когда вошла дочь. А тут еще и почетный мировой судья города господин Камарин явился, заказами которого всегда приходилось грузить подводу – дело хлопотное. Соня поздоровалась, не поднимая головы, и пронеслась в кухню.

Как в тумане она принялась разжигать очаг, дважды опалила себе пальцы, прежде чем смогла справиться с огнем. «Его, быть может, прямо сейчас убивают...» – истошно вопил внутренний голос.

Накрыв на стол, она спустилась за отцом. Тот махнул рукой, мол, занят, после. Камарин все еще был здесь, глядел, как прибывший с ним денщик перетаскивает свертки от прилавка к двери.

– А может, я быстро, пока солнце не село, разнесу остальные заказы, что ты успел собрать? – спросила Соня.

– Ты сделаешь это, доченька? – Он поднял голову, глянув с надеждой сначала на дочь, а потом на стекло витрины, очевидно, проверяя, достаточно ли на улице светло.

– Да, конечно, папенька, с радостью. Тем более что и сама не голодна. Только ты меня не жди, – она подхватила три подписанных свертка и уже была в дверях, ловко не столкнувшись с груженным книгами денщиком, – если раньше семи не вернусь. Последней зайду к Настасье Даниловне, она может меня сразу без чая не отпустить. Наверняка так и будет, как в прошлый раз и позапрошлый. У нее такая чудная левретка, просто прелесть, а не собачка. Я опять с ней заиграюсь, позабуду о времени. Ты не жди! Еда на столе.

Сделала книксен Камарину, нацепила канотье и выбежала на улицу, уже соображая план обхода по адресам. Порылась в карманах фартука, который так и не сняла, впрочем, как и форму, вынула копеек десять, решила взять извозчика до Московского форштадта, оставить заказ жене аптекаря Фролова, потом бегом добраться до улицы Попова – там книг ждал старый профессор из Политехнического – и закончить пробег у Настасьи Даниловны, которая проживала по адресу Тургеневская, 16. Разумеется, ни на какой чай Соня оставаться не собиралась, по набережной бы добралась до Рынка, а там и Господская за углом.

Но как бы Соня ни спешила, у калитки особняка Даниловых она, запыхавшись, остановилась, когда всю сверкали фонари, а солнце падало за Двину, последними лучами отчаянно цепляясь за крыши, бельведеры и шпили города.

Окошко на втором этаже башенки справа горело, как и прежде, свет озарял горшок с фиалками, лепнину потолка и повисшую безжизненным крылом гардину. Но был ли еще жив хозяин дома?

И тут мелькнула его непривычно лохматая голова в прорезь занавесок, Соня испустила ликующий возглас, заставив Данилова вернуться к окну и, перегнувшись через подоконник, посмотреть вниз.

– Григорий Львович, какая радость! – сияя улыбкой, помахала Соня.

Тот мигот исчез, будто спасаясь, потом все же вернулся.

– Что вам здесь нужно? – бросил он приглушенно, и Соня тотчас поняла, что ей не так уж и рады, что визит ее, возможно, неуместен, но сделала книксен, больше не решаясь говорить. В замешательстве она продолжала смотреть вверх, запрокинув голову и придерживая канотье.

– Подождите, – тем же тоном, сквозь зубы, проговорил учитель истории. – Я сейчас спущусь.

Через минуту он уже был у ворот. В одной рубашке с итальянским воротничком, сидевшим кое-как, без жилета и в коротких брюках со складками. Протянул руку к калитке, но не открыл.

– Я, кажется, пояснил, что верну вашу тетрадку после экзамена, – вновь, не разжимая зубов, прошипел он, при этом оставаясь в тени большого кустарника и предпочитая разговаривать с Соней через решетку. Одной рукой он держался за кованый виток, другую опустил в карман брюк. Девушка сразу догадалась, что в кармане он прячет револьвер или пистолет, наверное, небольшой, к примеру «дерринджер» или «терцероль», а если револьвер, мысленно упражнялась Соня в дедукции и своем знании оружия, то разве что «велодог»?

– Григорий Львович, вас хотят убить, – шепотом сказала она и прильнула лицом к решетке.

– Я и так знаю, – тоже шепотом, но с ноткой отчаяния ответил Данилов.

– Это все из-за меня... то есть из-за моего дневничка... – начала Соня.

Данилов сделал непонимающее лицо.

– Пустите меня, не тут же обо всем рассказывать.

– Нет, Софья Николаевна, идите домой, вам здесь делать совершенно нечего, – строго прошептал Данилов из темноты и, отпустив решетку, шагнул глубже в кусты. – Идите.

Но тут он вдруг изменился в лице и подался вперед.

– А не вы ли мне сегодня... эту самую записку подбросили? – с яростью рубанул он.

– Ну что вы такое говорите, где мне достать револьвер, тем более «смит-вессон».

– Откуда вам знать, что это именно «смит-вессон»?

– Знаю. Потому что это я... напороочила вам все это, понимаете? – Она опустила голову и принялась накручивать на палец край фартука. – Нет, не понимаете! Все очень серьезно. Убийца – лихой выдумщик. Он так быстро сообразил, что все можно сделать по написанному и остаться ни при чем. Впустите, пожалуйста. Меня дома искать не станут, я уже предупредила.

– В своем ли вы уме, барышня! Вы представляете, что будет, коли у меня в доме гимназистку застанут? Уже девятый час, я буду обязан оповестить Анну Артемьевну, что видел вас разгуливающей одной после семи вечера. Уходите, говорю.

– Я вчера уже была здесь. Вы дверь не заперли. В прихожей была... и встретила убийцу с револьвером. – Соня отпустила фартук и опять взялась за прутья решетки. – Мужчина высокий, прятался в комнате слева от входа, вышел из нее, принялся подниматься...

Данилов судорожно всхлипнул и уронил лицо в ладони. Тут Соня увидела надетый на его пальцы апаш – кажется, он был готов к наступлению и даже неплохо вооружен. Может, он не так-то прост? И вовсе не недотепа какой, а самый настоящий бандит, сам убил кого-нибудь и теперь скрывается под личиной гимназического учителя? А Соня ненароком стала свидетелем каких-то его тайных дел?

Девушка в ужасе уставилась на Григория Львовича, стоящего в тени сада с головой, опущенной в руки, на пальцах его был надет револьвер-кастет с откидным кинжалом с блестящей рукояткой и тонкой инкрустацией.

Вдруг он выпрямился, показав бледное лицо с покрасневшими мокрыми глазами, и впустил девушку.

– Все равно завтра меня здесь уже не будет. А на вашу репутацию мне плевать, – бросил он и, резко развернувшись, двинулся в дом.

Соня поколебалась с минуту, отогнала страх и решительно шагнула следом. Раз уж втянулась в историю, иди до последнего. Так или иначе, бандит этот человек, учитель или несчастная жертва, тетраточку свою лучше у него сегодня получить, дабы после та не стала неприятной против нее уликой.

Данилов легко взлетел по скрипучей деревянной лестнице, совсем как мальчишка перепрыгивая через четыре-пять ступенек, завернул направо, заторопился по анфиладе полутемных комнат. Свет в них проникал лишь с улицы. Пыльно-желтые полосы фонарного освещения ползли по полу, устланному коврами, поднимались к диванам, креслицам, кушеткам, этажеркам, шкафам, буфетам, прилипали к картинам, выхватывая из темноты то таинственные поллица чьего-то портрета, то подбородок, то шлейф платья или кончик шпаги. В конце анфилады горел свет: видимо, Григорий Львович обжил лишь это крохотное местечко в доме. Он ступал твердым и решительным шагом, совершенно не похожим на поступь неуверенного в себе юного учителя, только что приступившего к преподаванию. Соне показалось, что он даже стал выше ростом. И уж никакой карликовости в нем сейчас не обнаруживалось.

Когда Соня переступила порог, то насилу не ахнула. Это был не кабинет, а свалка самых неожиданных предметов. Посреди возвышался стол с шахматной доской, поверх нее вместо фигур стояло несколько свечей, желтые обои были исписаны египетскими, шумерскими знаками и латынью, всюду книги, собранные беспорядочными столбиками на ковре, секретере, подоконнике, нескольких креслах, обитых темно-вишневым бархатом. Соня узнала издания, купленные в их лавке, и скомканную оберточную бумагу, в которую они заворачивали покупки. В одном углу стояли рыцарские доспехи в полный рост, в другом – книжный шкаф, предназначенный для книг, но вмещающий в себя стройные ряды черепов и костей, в третьем углу, у двери, свалено несколько спортивных гирь, тут же к стене приделано странное устройство из брусьев и ремней. Гимнастический снаряд, догадалась Соня. И пробежалась глазами по обложкам книг, которые лежали рядом на полу, на подоконнике и этажерке: «Фехтование. Бокс. Борьба. С иллюстрациями Уолтора Армстронга, издание второе, Лондон», «Фехтование на саблях, Луиджи Барбазетти, издано при содействии С.-Петербургского Офицерского фехтовально-гимнастического зала», «Фехтование на эспадронах, италиянская школа, составил С. С. Апушкин», «Краткое практическое руководство фехтования на рапирах с 40 рисунками, издание типографии В. Я. Мильштейна». Всего этого Данилов в книжном магазине Каплана не покупал. Вот это номер! Данилов хранил секрет – он вовсе не учитель истории, а учитель фехтования, прям как у Дюма.

Соня завертела головой в поисках рапир и шпаг. И увидела позади себя – с другой стороны от двери – кучу железяк, большая часть которых была безжалостно погнута и изломана. Чуть поодаль стояла самая странная вещь в этой комнате: поднятый на подлокотник диван, весь темно-вишневый бархат которого был исколот и изрезан. Из прорезей выглядывали доски, пружинки и хлопья ваты. Видно, сей несчастный предмет мебели служил Данилову партнером по боям уже не первый год.

Под диваном лежали два раскрытых чемодана. Один набитый книгами и тетрадями, другой – одеждой. Григорий Львович действительно готовился к побегу.

Он прошагал к секретеру, выдвинул ящик и, вынув оттуда прямоугольный предмет желтого цвета, протянул его девушке.

– Как же вы его мне собирались вернуть, коли уезжаете?

– Поэтому возвращаю сейчас. – Он положил перед ней дневник на шахматную доску, отвернулся и принялся стягивать с пальцев кастет.

– Вы его не читали?

– Очень нужно.

Он невероятно преобразился. Движения его стали резкими, нервическими, как у дворового мальчишки, непричесанные волосы падали на лоб, воротник сполз, открыв худую шею. С

губ то и дело срывались грубости, каких Соня от него никогда не слышала прежде. Она была огорошена новым, неведомым ей прежде Даниловым, который не имел ничего общего ни с учителем истории, маячащим у доски в учительской тужурке, ни с мальчишкой, запечатленным на кондитерской продукции Фабрики Даниловых.

– Я должна попросить вас прочесть... – робко начала она.

– Не хочу! Вы получили, что хотели, дорогу знаете, дверей можете не закрывать.

– Это очень важно. Это может стать оружием против того, кто замыслил вас убить.

– Я готов, не беспокойтесь. Я жду его уже два года, – с вызовом бросил он, откинув со лба волосы таким движением, будто и вправду был намерен стоять против армии меченосцев.

– Вы ждете какое-то конкретное лицо?

Он нервно дернулся к чемоданам, решив вернуться к прерванным сборам, но на этих словах Сони остановился, будто ему дали под дых.

– Можно я сама вам прочту? – взмолилась Соня. – Это правда очень важно, пожалуйста.

Данилов стоял на коленях у чемоданов. Его губы, искаженные, готовые исторгнуть рыдания, будто под действием большого усилия воли, изогнулись в презрительной усмешке, мол, что, вы мне сейчас приметесь читать ваши девичьи записи? Он нервно поднялся и протянул руку, потребовав тетрадку назад.

– Два последних листа, после карандашной зарисовки... – неловко пробормотала Соня, протягивая записи.

Тот выхватил дневник, раскрыл, стал листать, нашел зарисовку, изображающую окно и ветки липы, тянущиеся к перекрестьям рамы, уселся в кресло, закинул ногу на ногу и погрузился в чтение.

И только его взгляд принялся скользить по строчкам, цепляя буквы, будто крючок нить макраме, лицо отпустила гримаса презрения, в чертах стал проступать прежний Данилов. Казалось, им на какое-то время овладел злой демон, но строчки, выписанные рукой Сони, постепенно изгоняли его, заставляя взгляд светлеть и возвращая скулам прежний румянец. Он снял с колена ногу, опустил обе на ковер, скруглил спину, привалившись локтями к коленям, продолжал читать. Когда закончил, перечел еще раз.

А потом откинулся на спинку и долго глядел на перевернутый диван с обезображенной уколами рапир обивкой.

– Вы меня, получается, приговорили...

Соня нервно втянула воздух носом, закрыла глаза, готовясь к оправданиям.

– Вы меня совсем не знаете! – вскричал он зло. – Вы не знаете моей жизни, моих мыслей, надежд, моего отчаяния. И вы меня приговорили к смерти. К смерти, когда я от нее спасаюсь, бегу, всеми силами сопротивляясь своим незримым убийцам. Вы – жестокая гимназистка, приходящая девица, пьющая кровь, ненасытный вампир, демон преисподней, не зная моей боли, пришли меня добить!

Соня стояла в стороне, спрятав лицо в ладони. Невыразимый стыд охватил ее сердце, горло сдавили рыдания. Но вдруг учитель замолчал. Соня продолжала стоять, боясь поднять голову.

– Я никудашный учитель, простите, – вздохнул он.

И она сорвалась с места, бросившись на колени к его креслу. Захлебываясь словами и пытаясь как паровоз, принялась объяснять, что так повелось испокон веков, что ученики не любят своих учителей за то, что те на их головы столько забот и тревог взваливают. Она вцепилась руками в подлокотник и жарко перечисляла: мол, учителя бранят, отнимают тетрадки, розгами охаживают, на горох ставят, уроков тьму задают. И она, Соня, вовсе не считает Данилова плохим учителем, напротив, столько всего из истории узнала...

– Довольно, Соня. – Он вскинул руку и скривился, будто глотнул лимонной настойки. – Будет. Поднимитесь. Ближе к делу. Получается, что вашу запись кто-то прочел и решил исполнить ваши тайные фантазии?

Она кротко кивнула, поднялась, отошла, уставившись на носки своих ботинок, чувствуя себя стоящей у доски и не знающей урока.

– И кто же это?

– Это мог сделать только тот, кто находился в тот день в школе, – вскинула голову Соня, сделав маленький шаг. – Времени совсем мало. Я написала миниатюру...

– Миниатюру, – эхом повторил Данилов и дернул уголком рта.

Соня чуть осмелела, подавила волной поднявшийся стыд и продолжила высказывать свои соображения. Стыд терзал сердце и душу, как зверь, но она его держала в стороне, медлить было нельзя. Пока Данилов спокоен, надо скорее выяснить, кто сотворил эту злую шутку.

– ... вы ее отняли. История была последним уроком. Вы ушли в учительскую. Кто-нибудь к вам заходил туда после звонка? Или, быть может, вы покидали ее, прежде чем собрать все ваши вещи?

Но Данилов, казалось, не слушал.

– И ведь успели подсунуть револьвер... – сделал отчаянный вдох он, продолжая гипнотизировать диван. – Когда?

– Погодите, Григорий Львович, – остановила его Соня. – До револьвера мы доберемся. Нужно выстроить логическую цепочку умозаключений с самого начала, с самого первого события.

– И я не видел, как вы вошли вчера. Видел, как топтались за воротами. Но вы вошли! – продолжал тот, распаляя чувства отчаяния, безысходной ярости и возмущения. – Вошли, черт возьми! И любой мог!

– Так любой и вошел, – пожала плечами Соня. – Вместе со мной, тот, что с револьвером был.

– Все мои попытки окружить дом безопасностью напрасны.

– А какие вы предприняли попытки?

Данилов строго вскинулся на девушку.

Соня покачала головой: здесь он не у своей кафедры, и строгий взгляд не обладает той силой непреложности, какой наделен всякий учитель, едва берет указку в руки. Тем более что он абсолютно не прав. Не закрывать ни калитки, ни дверей, держать дом неубранным и погруженным во тьму, превращающуюся для любого проходимца в место притяжения, самому прятаться за грязный дырявый диван и надеяться, что одолеет преступника рапирой? Это, видимо, он считает верхом безопасности? Как-то даже по-детски наивно.

Соня, разумеется, ничего такого ему не сказала. И у него был кастет с револьвером и ножом. Апаш – это, безусловно, хорошо, но запираť замок на ночь – куда эффективней.

– Давайте вернемся к попытке вычислить того, кто мог бы прочесть мою тетрадь, раздобыть «смит-вессон» и сунуть его вам в портфель, – предложила Соня.

Данилов вздохнул, его плечи опустились, он глянул на тетрадь в руках.

– Вы хоть понимаете, как нелепо это звучит? Кто мог прочесть вашу тетрадь, раздобыть «смит-вессон» и сунуть его мне в портфель? Царь Дадон, обернувшийся комаром?

– Это человек из гимназии, – гнула свое Соня. – Непременно из гимназии. Кроме того, у него есть возможность достать оружие, которое он мог бы без опаски, без страха себя скомпрометировать подсунуть другому человеку.

– И кто же это, по-вашему, госпожа Дюпен?

– Это мужчина, – безапелляционно заявила Соня. – Женщина бы никогда не решилась на такой дерзкий поступок. Женщина не соображает так скоро, чтобы собрать в голове почти мгновенный план: прочесть одну из моих записей, достать оружие, сунуть вам. Это слишком

сложно для существа, воспитанного для преподавания, скажем, литературы или гимнастики, возвращенного для подавания примера благовоспитанного человека.

Данилов смерил ее ледяным взглядом:

– То есть мужчина, по-вашему, не может быть примером благовоспитанного человека?

– Я не хотела обидеть мужчин, – протянула она, зардевшись. – Но согласитесь, ведь мужчинам проще сотворить какую-нибудь...

– ...пакость? – подхватил Данилов.

– Ну зачем же вы так? – заломила руки девушка. – Я имела в виду совсем другое. Бонапарт и Ганнибал, Чингисхан и Кутузов, Ломоносов... Все они – мужчины. Те, кто двигал колесо истории, влиял на события и все такое...

– Елизавета Петровна, Екатерина Великая, мадам Помпадур, в конце концов Сафо, Клеопатра, Жанна д'Арк, Диана де Пуатье. – Учитель выпрямился в кресле. И Соня не смогла бы угадать по выражению его лица, смеется ли он над ней, или же сейчас эти имена вырвались из его памяти, потому что он страсть как любил Дюма, и, кажется, совсем недавно прочел «Две Дианы» и «Орлеанскую девственницу» Вольтера.

– Хорошо. Но все же давайте вернемся к делу. Достаточно сузить круг подозреваемых. У нас лишь пятеро мужчин в гимназии. Это вы, дворник, учитель Закона Божьего, учитель словесности и математики. А еще есть врач... Я забыла про отца Дашки. Но это точно не он.

– Вы явились сюда поиграть в детектива, Каплан? Так слушайте. – Данилов вскочил и сжал кулаки. Его ноздри втягивались и раздувались, как у зверя, лицо красное, у виска билась жилка. – Это сделала женщина! Женщина подсунула мне табельное оружие человека – единственного человека, который был добр ко мне. А точнее, это учительница живописи Камилла Ипполитовна, недавно вскружившая голову штабс-капитану Бриедису. Только она вчера заходила ко мне, дабы расспросить, отчего милый ее сердцу штабс-капитан избегает ее общества.

Соня отступала на каждом слове учителя, схватившись в отчаянии за свою шляпку и натянув ее едва не на самые глаза. Крик Данилова застыл в ушах неприятным гулом, отразившимся от исписанных шумерскими знаками стен.

– Вы в близких отношениях с Эдгаром Кристаповичем? – удивилась девушка, совершенно не представлявшая, что у нее и у учителя Данилова могут быть общие знакомые, а еще больше дивясь тому, что у пятидесятилетнего Бриедиса – начальника Рижской полиции – могли быть чувства к молоденькой учительнице, более того, к Камилле, которую приняли лишь оттого, что та имела громкую славу человека, вращавшегося в кругах художников Парижа. Она отучилась в студии Шарля Глейра, жила несколько месяцев со знаменитым Моне в Живерни, помогала его жене Алисе вести хозяйство, была натурщицей у Дега и Ренуара. Но страшной слыла ветреницей, хоть и хорошенькой. Соне она нравилась, от нее пахло Парижем, богемой. Эдакая соблазнительница, верная своим идеалам и влюбленная в живопись эмансипантка.

– С Арсением Эдгаровичем, – все еще сжимая кулаки и челюсти, процедил Григорий Львович.

– Это с каким таким Арсением Эдгаровичем? – не сразу поняла Соня. – С Сенькой, что ли? Вы знаете Арсения Бриедиса?

– Когда умерли родители, он... как пристав нашего участка занимался их смертями, бумагами, чем-то еще. Иногда он навещается узнать, все ли у меня в порядке. Единственный, кто за эти два года справлялся обо мне.

Соня обвела глазами комнату. «Хорошо же, Арсений, ты приглядываешь за своим протеже. Благодетель, тоже мне!»

И она отчетливо припомнила этого темноволосого мальчишку, гордившегося своей учебой в Виленском пехотном юнкерском училище. На вакации приезжал он к отцу в юнкерском темном, шедшем ему мундире, поблескивал галунами, красовался фуражкой. Что ни год, нос задирали все выше. Соне надоело от него каждый раз слышать, что барышне сыщиком стать

нельзя, она и перестала с ним делиться восторгами по поводу прочитанного Эдгара По или Годвина. Папенька, конечно, был расстроен, у них со старшим Бриедисом имелись планы поженить детей. А те разругались.

Хорошо, что он уехал надолго учиться – в Николаевскую академию Генерального штаба. И уж точно сыщиком оттуда не должен был возвращаться; маменька вздыхала, мол, такого жениха упустили. Соня слышала: его сначала в поручики произвели, а потом, очень скоро, за какие-то заслуги – в штабс-капитаны. И когда это Арсений успел приставом сделаться, интересно знать?

– Сенька – заносчивый и кичливый мизантроп, сосед наш, и я его хорошо знаю... Знала раньше, – сказала Соня после паузы раздумий.

– Тогда понятно, почему он у вас в дневнике записан. – Данилов тотчас понял по лицу Сони об истинном предмете ее таких долгих размышлений. – Девчонки любят гадости думать о... заносчивых и кичливых.

Девушка надула губы: и вовсе не об этом речь, хотела сказать она, вовсе не потому она про Бриедиса написала, но найти с ответом не сумела сразу. Стояла с минуту молча, глядя в пол. Потом подняла глаза на Григория Львовича:

– Вы уверены, что Камилла взяла «смит-вессон» у Арсения?

– Почти да. Она его с собой на спектакль звала и на прошлой неделе просила меня передать ему билет. А вчера заходила узнать, выполнил ли я ее просьбу.

– А начальнице нашей сказали это?

– Разумеется, нет.

– Вы правы. Это она, – с серьезным лицом кивнула Соня, закусив ноготь большого пальца. – Я сразу так и не подумала... Записка составлена из букв, вырезанных из театральных афиш, а она в Латышском обществе состоит, там театр есть. Тогда нужно допросить Камиллу Ипполитовну.

– Допросить? – Григорий Львович скривился. – Вы что же, совсем не понимаете? Я совершил ошибку! Не нужно никого допрашивать. Нужно было... – тут он вытер мокрые глаза и всхлипнул, сжав зубы, – нужно было всего-то тихо вернуть оружие штабс-капитану. Но я был так сражен этой выходкой, что не сразу вспомнил, как Камилла просила меня познакомить с ним. Как долго увивалась подле. Она всеми средствами пытается ему голову вскружить... Теперь ей достанется! А заодно и бедному штабс-капитану, и гимназии... И вам, пропади пропадом ваш дневничок и ваши эти дурные фантазии!

– Складная версия, – молвила Соня. – Но давайте как-то увяжем все это с тем, что вас уже два года, как вы сказали, хотят убить.

– Соня, уходите, – прервал ее Данилов и сел в кресло. – Уходите. Незачем вам в это лезть.

– Вас же убить могут.

– Могут. И пусть... надоело уже. Пусть приходят наконец. И убивают.

– Вы должны сходить в полицию. И... Арсению все рассказать. Вы говорили ему о покушениях?

– Ему – нет.

– Но почему?

– Я не знаю. Я боюсь, что у моих отца с матерью были тайны, которые они хотели похоронить с собой. В последние годы их затворничество, их нежелание принимать ничью помощь передалось и мне. Если я пойду в полицию, может... произойти что-то нехорошее. Все это не зря. Какая-то туча стоит надо мной. Сначала эта моя болезнь, лечебница в Швейцарии, о которой я едва помню, потом их странности. Они были у меня очень старыми... Может, это всего лишь маразм, но я не хочу, чтобы кто-то знал, стал жалеть, принялся распускать слухи.

Данилов перестал яриться, заговорил тихо и обреченно, словно между ним и Соней возникла доверительная связь, словно он бесконечно в ней нуждался, искал и нашел. Соня слу-

шала, давая слезы, и в конце концов громко всхлипнула. Данилов вскинулся на нее, обнаружив ее участие, смутился, опустил глаза.

– Мне приятна ваша забота, Соня. Оказывается, бывают среди учениц те, кто еще способен на сочувствие. Но принять вашу помощь невозможно.

– А почему пристав приходил, когда родители... ваши умерли? – тихо спросила она.

– Засвидетельствовать смерть, конечно же.

– И все?

Этот вопрос заставил Григория Львовича вновь поднять на девушку взгляд. И в глазах его мелькнуло сначала сомнение, следом угнездилось раздумье. Он сидел и вспоминал.

– Не припомню ничего такого... Вам же в голову пришло, что их убили? Нет, папенька умер, потому что он уже был стар, не ходил. А маменька капель перебрала... но она тоже старая была, и... капель... – Голос Данилова задрожал и затих.

Минуту он сидел, глотая рыдания.

– Она это случайно, – вырвалось у него, – случайно! Рука, понимаете, неверная, глаза подслеповаты. Доктор сказал – все ее капли. Я сам видел, как она их принимала. Но не остановил... Не остановил!

Его взгляд остекленел, рот дрожал. Соня никогда прежде не видела такого страшного взгляда. Никогда прежде не видела учителя в таком состоянии. В него будто опять вселился незримый, временами овладевавший им демон. Он сорвался с кресла, схватил одну из рапир и принялся с рычанием наносить удары в исколотый диван, приговаривая сквозь зубы: «Не остановил! Не остановил!» Потом развернулся через плечо и проорал Соне с налитыми кровью глазами:

– Убирайся!

Соня в страхе отскочила к двери, но налетела спиной на доспехи и повалилась вместе с ними на пол, задев книги, которыми был уставлен подоконник.

Грохот получился такой силы, что перекрыл голос Данилова.

Данилов отрезвел, вздрогнул, отошел за диван, как перепуганный щенок, и, выглядывая из-за подлокотника, уставился на Соню, заваленную книгами и запутавшуюся в пыльной гардине. Грохоча распавшимися на части латами, она пыталась подняться и порезалась обо что-то ладонью. Кровь хлынула из раны и принялась обильно капать на пол. Соня привалилась к стене, беспомощно смотрела на ладонь, сжимая запястье другой рукой.

– Вот чем все кончилось! – Данилов зло отбросил рапиру в сторону – та с лязгом ударилась о стену – и пошел к секретеру, заставленному стопками бумаг, книгами, поломанными перьями, глобусами всех величин, бюравами и пыльными огарками свечей. – Чего вы не убрались сразу? Где-то здесь была шкатулка с антисептиками... У меня еще оставался ляписный карандаш. Не хватало, чтобы по моей вине у вас началось какое-нибудь заражение. Потом будет чем крыть невыполненное домашнее задание, да?

Нервически трясаясь, он нажимал на все ящики и рычажки большого изящного секретера тонкой работы голландских мастеров, верно, принадлежавшего прежнему хозяину. Руки его дрожали. Ничего не смог открыть, стал опять нервно всхлипывать, колотить ногами деревянные панели. Резьба, полки и выступы отдавали клубы пыли, при каждом ударе трещала столешница, заваленная вещами, с верхних полок посыпались книги и большие кожаные альбомы, следом соскочила и разбилась странного вида красная лампа в латунной оправе.

Соня сняла канотье и прикрыла шляпой руку.

– Не стоит беспокоиться, – слабо уговаривала она под невыносимый, дикий грохот. – Ерунда, царапина. Я пойду, все, все, я ухожу. Пожалуйста, только успокойтесь.

Данилов остановился. Он оперся о столешницу одной рукой, другой тер глаза.

– Простите меня... Я не могу забыть этого... Я, кажется, убил собственную мать...

И он сжал одной рукой глаза, заплакал, как ребенок, навзрыд, захлебываясь слезами, долго давившими грудь.

– Я... – Соня приблизилась, потянулась к нему рукой. – Я очень... я вам сочувствую. Хотите, я маменькиного доктора вам порекомендую? Маменька у меня тоже нервы всегда лечит. И, знаете, очень успешно.

– Не нужно. Вы сильно порезались? – по-прежнему сжимая рукой глаза, спросил он. На мгновение Соне показалось, что им овладевают две разные личности. У одной дух слабый и истерзанный, у другой – крепкий и решительный. Они попеременно выходят на свет, вырывая друг у друга право первенства. Наружу все рвется крикса, Данилов давит ее и старается дать путь повзрослевшей и твердой половине.

– Да ерунда, говорю... Сущая пу-пустяковина, – ответила Соня осторожно, все еще размышляя над новыми гранями личности человека, которого видела едва не каждый день два года подряд, а узнала только сегодня.

И тут ее взгляд зацепился за фотографию, вылетевшую из старого, отсыревшего альбома. Она не смогла совладать с любопытством и, уже позабыв о руке, но все еще прижимая ее к груди, шагнула на ковер. На фотографической карточке красовалась усадьба Синие сосны, куда Соня возила книги.

Данилов бросил взгляд на карточку, на которую уставилась Соня, равнодушно оттолкнул носком ботинка старый заплесневелый альбом, лежавший рядом, и посмотрел на Соню.

Их взгляды встретились, оба на мгновение затаили дыхание, будто услышав мысли друг друга: «Это какая-то тайна!», и одновременно, как два дитя за мячом, кинулись к альбому. Данилов оказался ловчее. Он схватил обложку, ветхая застежка порвалась, и он замер с выражением лица почти таким же, какое было на нем сегодня утром на уроке, когда он запустил руку в собственный портфель и нащупал там «смит-вессон». Соня терпеливо ждала, когда он совладеет с собой. Наконец он сделал движение указательным пальцем, альбом тотчас раскрылся, показав пыльный, почерневший форзац с отпечатавшимся на нем прямоугольником фотокарточки, которая была заложена внутри, выпала и привлекла внимание Сони.

Позабыв обо всем на свете, они сели бок о бок, словно брат и сестра, нашедшие тайник родителей, забыв о приличиях, о Сониной руке и сборах Данилова. Он чувствовал ее локоть у своего локтя, она слышала его тяжелое, прерывистое дыхание. Молча они переворачивали страницы, то и дело задевая друг друга пальцами, когда приходилось стирать налипшую на срез паутину и черноту плесени, касались лбами, когда одновременно опускали головы, чтобы сдуть пыль. Сколько он мог пролежать где-то в сырости подвала? Лет двадцать? И как он попал сюда?

Плотная картонная бумага внутри имела фигурные полукруглые выступы, в которые чей-то заботливой рукой были выложены черно-белые, реже – расцвеченные вручную акварелью фотографии. С придыханием они продолжали листать, ни на чем особо не задерживая глаз: они искали что-то другое, может, заметки, может, письма, карту сокровищ или чей-то дневник. Но альбом содержал фотографии совершенно незнакомых людей. Незнакомых как Соне, так и Данилову.

– Всего лишь чей-то старый альбом. И кто все эти люди? – вырвалось разочарованное у Данилова.

– Но почему он такой отсыревший? Его, верно, хранили от людских глаз? – благоговейным шепотом отозвалась Соня.

– Ничего в нем особенного. Это мамин альбом, только и всего. Она снесла их все сюда перед самой смертью. Когда-то, быть может, когда я пошел учиться в гимназию, она увлекалась фотографией... Рядом с книжным шкафом стоит ящик с немецкой «Моментальной камерой Аншютца» фирмы «Гёрц». Вот и красная лампа для фотопечати разбилась...

– Значит, эти снимки делала ваша матушка? Самостоятельно? Как и фотографию для банки с какао?

Данилов помрачнел.

– Будьте любезны, никогда больше не напоминайте мне об этой чертовой банке, – сказал он, не глядя на Соню, и замолчал, поджав губы так, что они побелели. Потом, переборов внутреннее сопротивление двух его душ, подобных душам доктора Джекилла и мистера Хайда, добавил: – Надписи сделаны ее рукой.

– Может, стоит подойти к делу чуть основательней? – предложила Соня. – У вас есть лампа?

Григорий Львович поднялся с колен и пошел за масляной лампой, долго не мог ее засветить – тряслись руки. Соня не мешала ему. Она осталась на полу и продолжала рассматривать карточки. Ей пришло в голову, что на задней стороне могут содержаться какие-нибудь полезные сведения, и наугад вынула одну. На карточке была запечатлена молодая семья, состоящая из удивительно похожих друг на друга молодой матери и молодого отца, стоящих на крыльце большого и красивого дома с колоннами и портиком, окруженного многовековыми соснами. Они держали на руках двух укутанных в кружева младенцев и солнечно улыбались в кадр. Волосы их были светлыми. Отец подстрижен коротко, шевелюра девушки струилась через плечо пышной волной, завитки попадали в глаза, отчего она мило щурилась. Совсем как леди Ровена, подумалось Соне.

Перевернув фотографию, она увидела надпись: «1882 год, Синие сосны, Марк и Ева, внук Григорий и внучка Ева».

Внук? Почему внук, если Григорий Львович сказал, что почерк принадлежал его матери?

Она повернула фотографию обратно и принялась вглядываться в лица молодоженов. Данилов придвинул зажженную лампу ближе к Соне и заглянул ей за плечо. Она показала надпись учителю.

– Все же это не чей-то альбом. А ваш. Это ваши родители? Ну... в молодости, вероятно? Так ведь, да?

Он долго смотрел на изображение, его лицо застыло непроницаемой маской.

– Нет, это, видимо, мои брат и сестра, – наконец выдавил он. – Я их живых не застал, видел только на фотографии, и то очень давно... даже не припомню когда. Красивые! Похожи на маму. У мамы – она немка – были светлые волосы, пока их полностью не поглотила седина.

– У вас тоже была сестренка? Ее звали Евой?

Григорий Львович медленно покачал головой:

– Никогда прежде не слышал. Ева... Может, умерла в раннем возрасте, как и их первенец?

Соня опустила голову. Сочувствие и любопытство, встав по обе стороны, рвали на части. Сочувствие и воспитание призывали молчать, а любопытство подбрасывало новые вопросы. Сердце сжималось от жалости при взгляде на бедного учителя, растерянного, бледного, запутавшегося в глубинах детской памяти и страшно пугающегося призраков, которые все норovali выскочить из темных углов, накинуть петлю, нож или запустить когтистую лапу в горло. Но ум требовал ответов и настаивал, что без них сердцу не станет покойно.

– А почему фотокарточка датирована 1882 годом? – не выдержала Соня, приняв сторону разумного любопытства.

Прежде чем она произнесла вопрос вслух, загадка не казалась такой дикой и устрашающей. Она и не усмотрела в ней никаких математических тайн, мозг не сразу высчитал такое с виду простое и ясное уравнение.

– Вам здесь не может быть шесть лет.

– Почему вы знаете? – Данилов опять стал нервничать, предчувствуя недоброе.

– Вы родились в 1876-м. Это все знают, Григорий Львович.

– Я и забыл, что мой диагноз до сих будоражит умы, даже столь незрелые, как ваш и ваших подружек.

Соня проглотила шпильку.

– Вам было на этом фото шесть лет? – с недоверием переспросила она.

– Мне было на этом фото шесть лет. Да! – вспыхнул Данилов. И Соня инстинктивно сжалась. – Этот шестилетний младенец в кружевах с пухлыми щеками и розовыми губами, который только-только отпустил материнскую грудь, – очевидно я. Я! Вы это хотели уточнить?

– Что-то не складывается... – Соня нахмурилась, хлопая глазами, стараясь предположить причину такого странного разрыва в датах. Вынув раненую руку из смятого канотье и закусив основание большого пальца там, где зигзагом шла тонкая линия пореза, она опустила голову к карточке, принявшись пристально разглядывать ее. Она искала разницу в возрасте. Но дети были совершенно идентичны: два пухлощеких кругляша, здоровеньких и довольных. – Получается, вашей сестре тоже шесть лет?

– Почему вы так решили? У нее, может быть, абсолютно нормальный, соответствующий здоровому малышу возраст.

– Но вы же совершенно одинаковые! – Соня оторвала губы от руки и скривилась в усмешке.

Данилов подтянул альбом к себе, как обиженный ребенок, и, не ответив, стал вынимать одну фотографию за другой и глядеть на их оборотные стороны. Соня погрузилась в размышления.

– Что, если... – начала она осторожно, – по какой-то нелепой причине вам вовсе не двадцать пять, а девятнадцать?

Данилов посмотрел на нее исподлобья и не ответил, сочтя предположение Сони нелепым.

Она осторожно придвинулась к нему, стала рассматривать те фотографии, которые тот отбросил. На многих карточках была эта молодая пара со светлыми, волнистыми кудрями, в чертах коих Соня невольно угадывала схожесть с чертами учителя Данилова. Она, сама того не замечая, стала часто-часто поглядывать на него, отрывая взгляд от фотографий и вновь опуская глаза. Эти светлые нечесанные, взъерошенные волосы, которые тот носил в гимназию тщательно уложенными бриллиантином, скрывающим его настоящий цвет, почти цыплячий, солнечный, цвет луга, покрытого одуванчиками по весне. Эти широкие глаза василькового цвета, с янтарным ободком вокруг зрачка, обрамленные темными ресницами. Этот узкий овал лица с острым подбородком...

– Вы с вашими братом и сестрой тоже диво как похожи.

Данилов опять не ответил. Казалось, он не слышал Соню. С увлеченностью дитя, закусив губу и сведя брови, перебирал каждую фотографию, раскладывал их на стопки. Стопок вышло три.

– Здесь фотокарточки за три года, – сказал он наконец. – А одна фотография датирована 1881-м.

И протянул ее Соне.

Молодая пара выглядела еще моложе и прекрасней, возраст казался одинаковым. Он – высокий и статный, в черном пиджаке, полосатых щегольских брюках, шея повязана черным атласным галстуком, на ногах туго зашнурованные ботинки. Волосы убраны назад, кажутся темнее из-за бриллиантина, взгляд юный, почти детский. Она – в светлом платье, чуть располневшая, излучающая особый свет, заметный даже с фотографии, сидела на краешке стула с резной спинкой, руки уложила на большой живот. Улыбка озаряла ее лицо, совершенно детское. Казалось, ничто не может помешать такому счастью.

– Почему на этих фотографиях нет моих родителей? Почему всюду только мои покойные брат и сестра? И запечатлены они... как молодожены... Какой-то бред.

Данилов сел на пол, привалившись спиной к секретеру, уткнулся локтями в колени, лицо уронил в ладони. Потом опять опустился на колени и стал перебирать фотографии.

– Мне некому задать эти вопросы. Единственный человек, который может хоть что-то знать... наш приказчик Виктор Германович. Но он передал дела помощнику и слег с подагрой, а помощник совсем еще молод.

– Ваши кузены и кузины, тети, дяди, родственники, бабушки и дедушки?

– Никого нет, никого я не знаю. В нашем доме не было родственников уже больше десяти лет. Я еще ходил в гимназию, был слишком занят учебой, чтобы что-то понимать. Потом меня надолго отправили в Москву. Отец уже был болен, когда я вернулся, мать не впускала в дом никого, кроме доктора. Я не успел понять, что происходит. Дильсу, видимо, было приказано молчать о том...

Он вдруг обмер, заглотив воздуха, поменявшись в лице. Поднял страшные глаза на Соню и выдавил, будто в приступе тошноты:

– Молчать о том, что мои брат и сестра жили супружеской парой!

На мгновение в кабинете стало тихо. Соня ничего не могла сказать, хотя все было более чем очевидно. Данилов продолжал с искривленным гримасой омерзения лицом смотреть в пустоту.

– Вы ув-верены? – прошептала девушка.

– На всех этих фотографиях только Марк и Ева. А Григорий и Ева – их дети. Они родили и воспитывали двух очаровательных малышей. Здесь вся ретроспектива их жизни от... зачатия и до трех лет жизни. Они живут и развиваются одинаково. Они – близнецы, как сами Марк и Ева.

– Ваши брат и сестра были близнецами?

– Да. Вы правы, Соня, кажется, теперь все сходится. Я – их сын... сын Марка и Евы, внук той, которая собственной рукой подписала все эти, тщательно укрываемые ото всех фотографии. И мне девятнадцать... дай бог, если стукнет летом.

Он встал, шатаясь добрел до окна, сначала наклонился, почти навис над подоконником, жадно втягивая ночной воздух, потом развернулся и сел рядом с горшком фиалок.

– Мои родители вступили в кровосмесительный брак, – глухим голосом констатировал он. Соня молчала, опустив голову. – Три года они жили счастливой обособленной жизнью. Почему же этого никто не знал? Никто не проведал? Почему это не стало скандалом? Три года! Посмотри, как они счастливы, они, наверное, принимали гостей, их обслуживал большой штат слуг.

– Шестнадцать лет прошло. Позабылось, – выдавила девушка затем только, чтобы сказать хоть что-то. Ей больше не хотелось ничего расследовать.

– Такое трудно позабыть. Подумать только... мои папенька и маменька мне на самом деле приходились дедушкой и бабушкой. Господи! Лишь сейчас это выглядит очевидным. Их дряхлость, их старомодные помыслы, слова, странные привычки... Какой позор! Уж лучше бы я оставался больным карликом... чем оказались больны мои настоящие родители. Ведь это болезнь! Болезнь, когда брат и сестра – вот так...

Его лицо исказила гримаса гадливости. Соня прикусила губу, по ее щекам катились слезы, она боялась ими обидеть учителя и потому прятала, опуская голову все ниже и ниже. В мыслях крутилось: «Бедный, бедный учитель, не многим старше меня. Как он мог отучиться таким в гимназии? А в университете? Как его таким приняли в преподаватели? Как он таким вообще мог сойтись с кем-нибудь в дружбе? Как мог бы найти возлюбленную? Будущую супругу? Родить детей?»

– Как это было? – будто слыша ее мысли, вскричал он. – Соня! – в его голосе было столько мольбы. – Соня, вы пришли играть в детектива. Расскажите мне! Как это было? Как вы себе представляете гнев Льва Всеволодовича? А может, он был согласен? Поговорите же со мной!

Скажите хоть что-то! Они с маменькой ездили в то поместье с соснами и домом, она их сама, что ли, рассаживала перед камерой? Они ничего не сказали, когда узнали, что их дети поженились? А вдруг в их смертях следует винить моих дедушку и бабушку? Как они умерли? Я ничего не знаю. И не представляю, как узнать. А где маленькая Ева? Где их второй ребенок? Жива ли?

Он распалился, покраснел, вцепился пальцами в подоконник, выкрикивая слова в пустоту, а потом замолчал, замер, будто у куклы кончился завод, устало глядя перед собой. Соня ожидала, что он соскочит и начнет лупить обивку дивана рапирой, но Данилов, как каменный, продолжал сидеть, вцепившись в подоконник белыми пальцами, впав в долгие мучительные раздумья. В глазах проносились тайфуны и шквальные вихри. Он порывался что-то сказать, но не находил слов.

– Позор! Вся жизнь из-за этого наперекосяк, – прорезало тишину, и вновь слышно было, как он дышит, и тихое тиканье часов в унисон его тяжелому дыханию. Соня молча накручивала на палец грязный фартук. Ей нечего было сказать, не было даже мыслей, одно сожаление. И желание поскорее уйти.

– Получается... – срывалось с его губ; Соня вздрагивала, – в гимназию я поступил не в положенные двенадцать, а в неполные семь?

Пауза, шипение на треть оплавившихся свечей на шахматном столике. Реплики Данилова соскакивали с губ, как осыпающиеся со скал камни. Будто внутри его переполняло булыжниками и те скатывались, тяжело ухая в пустоту.

– Мне было восемь, – сказал он почти шепотом, – когда я стоял на подоконнике второго этажа Рижской Александровской гимназии, не проучившись в ней и двух лет среди сверстников, которым было по тринадцать. Я собирался покончить с собой. Потому что жить с отставанием в развитии стало невыносимо.

Устало уронив голову на ладони, Данилов сполз с подоконника на пол и затрясся в беззвучном рыдании. Соня тут же была рядом, гладила его по плечу. И они просидели так еще несколько долгих, тяжелых минут. Данилов больше ничего не сказал, прятал лицо в руках, Соня слушала, как он дышит сквозь мокрые пальцы, в промежутках между вдохами стараясь подавить плач. По-детски она пыталась оттянуть его пальцы от лица, тихонько звала по имени-отчеству.

– Григорий Львович, ну давайте поищем в этом плюсы. Например, у вас нет никакого гипофиз-зарного нанизма! Вы здоровы, а учеба вся позади.

Тот перестал всхлипывать.

– Карликовости нет. – Соня давила из себя улыбку, стараясь казаться бодрой. – Вам просто-напросто девятнадцать! Вы меня всего-то на год старше, учитель Данилов, а точнее, на полгода. Вы... вы ведь Дашки моложе на два года. Даша Финкельштейн... ей двадцать один! А вам – учителю истории – девятнадцать. Вот смех и грех, ей-богу. А хотите...

Видя, что он затих, Соня заговорила скорее и уже совершенно искренне:

– Хотите, я не буду вас Григорием Львовичем звать? Буду звать Гришей! И мы будем друзья. Вы приходите к нам в книжную лавку, мы вместе Дюма читаем. И смеяться больше не стану, что вы берете мушкетерские романы. Ну посмотрите же на меня. Разве не прекрасно знать, что ты вдруг совсем юн и совершенно здоров! А жизни на целых шесть лет прибавилось. Остальное устроится, и я буду рядом, здесь, с вами, как сестра... Гриша, вот вам моя рука. Давайте будем друзья!

Григорий Львович отнял ладони от мокрого лица, слушал Соню, затаив дыхание, губы его сморщились в улыбке, какая бывает сразу после отчаянных рыданий, такая нескладная: один уголок вниз уехал, другой – вверх, зубы будто скалятся, и неясно, сейчас вновь разрыдается или смеяться начнет. Он перевел взгляд с девушки в пустоту, в глазах прояснилось, тайфун уступил место тихим облачкам воспоминаний вперемишку с размышлениями.

– Мне больше не нужно казаться взрослым...

## Глава 4. На подоконнике Александровской гимназии

– Взрослым. Срочно! Сейчас же, – с усталой злобой говорил Данилов, потому что так давно хотел говорить, но было некому. Он откинулся спиной на стену под окном, поджал к груди худое колено. Соня примостилась рядом, подобрав ноги и расправив подол юбки. Она ухватила за его ладонь и крепко держала, давая понять, что слушает и слышит. Приличия были забыты. Теперь они связаны зародившейся нынче ночью дружбой, цементом которой стала общая тайна.

– Я глядел в зеркало и ненавидел свое детское лицо, чуть что вспыхивающие огнем щеки, щенячьи глаза, волосы пухом, которые не желали лежать ровно. Мне приходилось подставлять табурет или мамин пуф к зеркалу, чтобы увидеть себя в полный рост. «Неважно, сколько в тебе росту, важен труд и сознание долга», – говорил, проходя мимо, отец, этот ширококостный гигант с седой головой, седыми подусниками и бородой. Отцы других детей выглядели изящными денди в визитках, модных сюртуках и не были такими старыми, как мой папа. Он вел меня за руку в гимназию... и в своем старомодном, широченном пальто казался страшным великаном или Гулливером, а я рядом с ним – ничтожным лилипутом, который не думал о долге, а лишь о сладкой вате и радости прокатиться на пони в воскресный день после церковной службы.

Я шел в гимназию, и мысли не допустив, что другие дети будут всегда смотреть на меня сверху, а я на них – будто из какой-то глубокой норы, видя лишь их пояса и ровный рядок пуговиц на гимназических курточках. Из всех своих одноклассников я был самым мелким. Ниже ростом даже девочек! Однажды посетили нас на Рождество ученицы вашей, Соня, гимназии, но то другая история...

А в тот первый день... Что же было? В едином порыве какого-то лихого чувства все обступили меня, а дальше – темнота. Восторг? Вряд ли. Радость? Нет. Презрение. Или защитная реакция. Совершенно не помню. Вернулся к учебе, когда на дворе выпал первый снег. Отец всегда ратовал за домашнее образование, он был строгим, но разумным, маменька же слыла истинной амазонкой. Что-то тогда стряслось, я долго не покидал постели. Первый день – парты, учителя, школьная доска, белые, как льдинки, кусочки мела, а потом – кровать, укусные примочки, кормили с ложки... Милосердная память выбросила подробности того дня, будто в яркий солнечный день на небосвод ворвалась туча, отгремел оглушительный грохот грозы – и снова череда ясных, теплых деньков. И пусть я не могу подняться с постели, зато мама каждый вечер читает мне «Две Дианы», после каждой главы славя благородного графа Монтгомери.

– Прафда федь, сыночек, ты будешь так же храпр, как Гаприэль? – говорила она на французском с тяжелым немецким акцентом. – И ничего, что фсе началось с такой неудачи. Мы попрафим положение, мой храпрый рыцарь.

Папа хотел нанять учителей и оставить меня дома, говорил, что мой диагноз будет помехой учебе в школе. Маменька – нет, немка, нестигаемая и упорная, настаивала на курсах, она сама говорила с начальником Александровской гимназии о намерении отдать сына с отсталостью в развитии в лучшую школу столицы Лифляндской губернии.

«Ну и что же, что ростом не фышел. Он знать наизусть целые главы из Ефангелия, он читать Канта, Сократа и Данте. Он говорить на семи языках, играть на рояль. В нашем доме его окружить забота четыре гувернантка из Франция, Италия, Швеция и Англия».

Соня улыбнулась, учитель так забавно пародировал свою мать.

– Книги, музыка, языки стоили мне крови из ушей, долгих обмороков, временно наступившей слепоты, которую все списывали на гипофизарный нанизм. Маменька, почему ты не оставила меня окруженным заботой этих милых девушек, которые готовы были носить меня на

руках и не пытались утопить в грязной луже на заднем дворе школы, не привязывали к гилям в гимнастическом зале, не зажимали крышкой парты пальцы? Я готов был дальше штудировать учебники, заучивать целые тома, захлебываясь кровью, только бы не возвращаться в этот крошечный ад, где мои одноклассники исправно несли свою демоническую службу.

А может, я сам наломал дров в тот злосчастный первый день учебы? Сидел бы себе тихонько за последней партой. Но нет же, я был в твердом убеждении воспользоваться советами моей воинственно настроенной маменьки, она с легкостью могла оказаться дочерью Атоса, Партоса, Арамиса или Д'Артаньяна. Она велела мне в первый же час учинить драку. Вам, Соня, должно быть, смешно, но... она хотела научить меня защищаться. Да, это была защитная реакция, но только не их. Моя.

За месяц до начала учебного года, когда был решен вопрос поступления в гимназию, она наняла учителя фехтования, который в гневе сломал мне кисть спустя неделю занятий, зло выдернув из руки рапиру. После пришлось пригласить сослуживца отца – одного из офицеров Кавалергардского полка. Помню только его фамилию – Пашков. Он был прекрасным рассказчиком, и мы редко брали в руки рапиры. Верно, маменька просила его не ломать мне костей, и он нашел единственный способ не делать этого. «Нужно быть терпимее к человеку, все же не будем забывать о том, в какую примитивную эпоху он был сотворен». Я тоже зачитывался Альфонсом Алле, Соня.

Соня невольно погладила его по локтю и опять сжала ладонь. Данилов дернул уголком рта в благодарность, закрыл глаза, откинувшись затылком на стену, и продолжил, все еще борясь со слезами, стоящими комом в горле:

– Маменька отчаянно хотела, чтобы я стал таким, как Габриэль де Монтгомери. Отчаянно мечтала, чтобы я перестал быть мямлей и нюней, разучился краснеть и опускать глаза. Вырос разом. А ведь знала, что мне лишь неполных семь! Она была моим главным мучителем! Она, не мои гимназические изуверы... Она знала, что мне только семь, но не видела никаких препятствий в преодолении этого совершенно ничтожного, крохотного недостатка. По ее мнению, я легко мог сойти за двенадцатилетнего. Мне доставало только усердия.

Видите, Соня... почему я виню себя в ее смерти. Я ее убил в конце концов. Сидел напротив в тот вечер и смотрел, как она вливает опиум себе в бокал, как подносит его ко рту, смотрел и думал: «Все, чему ты меня научила, – это бояться жизни и ненавидеть людей». Мы уставились друг другу в глаза, она – с жалостью, я – с ненавистью. И я торжествовал, радуясь, что не придется больше жить при ней дрессированным пуделем, не придется стараться быть хорошим сыном. Я ее не остановил...

Соня испугалась, что Данилов вновь придет в бешенство, но слезы ярости очищали его душу, как кровопускание очищает от дурной крови.

– Я так хотел ей угодить... И попеременно, Соня, решал быть Моцартом, Ломоносовым, Паскалем, Гауссом! Но когда маменька захотела, чтобы я проявил физическую силу, я провалил этот экзамен. Вызубрить полкниги, отточить музыкальный этюд, чтобы ни одной фальшивой ноты, отвечать за завтраком на вопросы на шведском, английском, французском, не сбившись, – это все ерунда. Они натаскивали меня, как цирковую собачку, скармливая заверения, что все, что мне остается, – быть умнее. Вызубрить – это несложно, но вот выстоять в настоящей драке... Для семилетнего мальчика, когда противники старше на шесть лет, это... Я не справился. А готовился весь август, мысленно проигрывая в голове сцену своего триумфа. «Они будут обищать тебя, Гриша. Они захотят ударить, бросить в тебя камнем или запустить учебником. Но ты будешь лопфом и сумеешь за себя постоять, малыш...» А в это время где-то жили ее собственные дети в браке, воспитывали ее внучку Еву, может быть, даже в любви и согласии. Или... – Данилов нахмурился, – или все они уже тогда были мертвы? Соня, скажи? Они мертвы и... свободны? И только я один нес на себе крест безумия этой семьи.

Соня молчала, молчал перевернутый диван, стены, исписанные шумерскими знаками, груда железок, высокий секретер, полный черепов шкаф, будто потупились, будто и вправду имели чувства, открыли способность к состраданию. Соня стыдливо опустила голову, ей было горько думать, что она принадлежала к лагерю его обидчиков и ничем от дивана с его деревянным бесчувствием не отличалась, жесткая и равнодушная к горю человека, источающего серый ореол неудачника. Краешек горя учителя, как маленькая льдинка, оказался глыбой большого айсберга.

Данилов вышел из задумчивости:

– Я, семилетний головастик, шел на собственных товарищей-одноклассников с линейкой, как гордый мушкетер на гвардейцев кардинала, не допустив мысли, что мог бы с ними сойтись. Маменька не говорила, что с чужими детьми можно было сблизиться. Отчасти она была права. Но отчасти за меня все решило хорошо удобренное затаенное чувство внушенного ею же страха, а сдал затравленный взгляд. Они успели все понять, я еще не поднял своей шпаги. Они успели напасть на меня прежде, чем это сделал бы я. Теперь я вспомнил тайну моего первого дня в гимназии. Эх... все эти мои размышления и философствования – все это попытка скрасить правду. На самом деле я мог бы не стараться в фехтовальной зале и сохранил бы кисть целой, продолжал бы предвкушать мысль о катании на пони в воскресенье. Все было предрешиено. Ну на что мог рассчитывать мальчик ростом в четыре фута, ноги которого едва доставали до пола, когда он сидел за своей последней партой?

Каждая схватка с двенадцатилетними ребятами могла окончиться столь же плачевно, как в тот злосчастный первый день. Я сопротивлялся изо всех сил, стараясь выжить и не дать моим родителям узнать о моих ежедневных поражениях. Прятал испорченные учебники, переписывал по ночам изодранные в клочья тетради, всю порванную одежду старательно «забывал» где-нибудь в Стрелковом парке, молил моих гувернанток, чтобы они не сообщали маменьке о синяках и ссадинах, получаемых мною ежедневно, как морской пак. Я сопротивлялся, не видя, что лишь в моем сопротивлении кроется главная ошибка.

В то Рождество небесные силы ниспослали мне озарение.

Это был второй класс, мы должны были отправиться на вакацию. Ожидался бал, приходили девочки, нам предстояло показать, как мы научились танцам.

Главные запевалы класса нарядили в платье пуделя мадам Брик, учительницы пения. Та сама взяла с собою псину в школу и позволила мальчишкам сыграть глумливую шутку. Двое привели собаку в залу, придерживая за ошейник, псина вышагивала на задних лапах, забавное платьице колыхалось, как колокольчик, морду обрамлял чепец, подвели ко мне и опустили лапы на плечи. Я не мог и шелохнуться, замер в страхе, что мадам Брик рассердится за то, что я оттолкнул ее собаку. Стоящий на задних лапах пудель был выше меня, казался тогда настоящим Орфом. Девочки – одетые в белое и нежно-розовое, в ленты, кружева и рюши, с прическами, делавшими их выше и взрослее, – все разом прыснули со смеху. Мальчишки начали гоготать еще раньше. Небольшой наш школьный оркестр умолк, скрипачи и флейтист сложились пополам. Зал был полон народу, и все смеялись и хлопали в ладоши, подражая учителю танцев, который постукивал каблуком, как делал это на каждом уроке, и громко кричал «раз-два-три, раз-два-три» – отсчитывал такт, понукая нашу пару пойти в пляс. Он – взрослый, мудрый учитель с седыми бакенбардами – искренне считал мой танец с пуделем милой забавой.

Я все стоял. А потом встретился глазами с собственным отражением – в зале для танцев всюду зеркала, – увидел гнома, обнимающего псину в юбке, отпрянул и, ощутив непреодолимое желание выйти, растерялся, пошел почему-то к окну. Под непрекращающееся «раз-два-три, раз-два-три» поднялся на стул и стал дергать створки. Заледенелые, они будто приросли к раме. Окно было двойным. Я не думал, сколько провожусь с ним. Зал скандировал, улюлюкал. Никто не двинулся мне помешать, хотя присутствовал почти весь учительский штат, кажется,

был среди них и начальник гимназии, но после, когда все закончилось, ни один из учителей не был уволен, даже мадам Брик.

Пудель был не преступлением для них, шалостью. Сделать меня на празднике *ridicule*<sup>1</sup> – это маленькая невинная шалость, и только. Они ведь не закидали меня бревнами на заднем дворе, не втоптали в грязь, в конце концов, даже не применили силы. Они просто нарядили на праздник в платье пуделя.

Мой же поступок с подоконником кончился тем, что на рождественских вакациях я выслушал от папеньки долгую речь о трусости и остался в наказание дома.

Но я уже был совсем другим человеком, я его нотаций не слушал, меня не напугало наказание, напротив, обрадовало. Когда в залу ворвался снежный вихрь, а створки окон хлопнули на ветру, смех перестал звенеть в воздухе. Залой завладели метель и снежная крошка, дрогнули стеклянные шары на елке. Я стоял на подоконнике и вдруг почувствовал себя пятнадцатилетним капитаном на палубе «Пилигрима». Моя курточка, расстегнутая на груди, хлопала полами. Я поднялся на подоконник, подставив лицо ветру, и ощутил себя свободным. Я перестал быть Гришей Даниловым, но стал Диком Сэндом, сиротой Диком, идущим против шквального ветра и берущего рифы на гроте. Я обернулся в зал и увидел вытянутые лица девочек и мальчиков, я увидел своих учителей, замерших в недоумении, будто мне досталось нечто такое, отчего всем стало разом завидно. Они были там, внизу, а я смотрел на них сверху. Впервые смотрел на людей сверху. Мои недавние мучители перестали быть страшными, противными, а стали далекими и неинтересными. Я стоял на подоконнике, и желание смерти отступило – я смотрел вниз и жадно предвкушал будущие каникулы и то, как стану перечитывать «Пятнадцатилетнего капитана».

В ту минуту я осознал, что кроме этой жизни, жалкой, ничтожной, ничего не значащей, я владел сотнями других жизней – других людей, славных, храбрых героев, сильных и находчивых. Я мог быть кем угодно по собственному желанию, отправиться странствовать куда захочу и оставаться там сколько пожелаю. Моя жизнь – не эта гимназия, не мальчишки, не учитель танцев, не моя безумная мать и требовательный отец, моя жизнь – по ту сторону книжных страниц, попасть в которые легче легкого, достаточно просто совершить маленький ритуал: уединиться, укутаться в старую медвежью шкуру у камина или запереться в библиотеке, сгодится любой тихий угол, и открыть книгу.

С тех пор меня трогали все реже, я почти поселился в библиотеке, учителям до меня не было дела. Оценки мне ставили всегда высшие, я даже на два класса перескочил вперед и окончил курс раньше своих главных обидчиков – маменька отчисляла в гимназию приличные средства, а заучивать уроки я наострился так ловко, что хватало дня, чтобы зараз прочесть всего «Евгения Онегина» и ответить его наизусть. Да меня и не слушали почти, так ставили пятерки.

Компромисс нашелся сам собой. Я просто уходил жить в книги и машинально делал то, что от меня ждали, не пытаясь более ни сблизиться ни с кем, ни защищаться.

Не я первый, не я последний из тех, кто хоть раз подвергался травле, страдал от дикой необузданности охотника, живущего глубоко в нас. Вероятно, люди еще не пришли к той высокой степени цивилизованности, в которой нет места инстинктам, но лишь единственно разуму, к той форме цивилизации, которую воспевали Платон и Сократ, ставя в первостепенную важность нематериальность ценностей. Человек, как ни старайся он себя показать высоконравственным, благородным созданием, все еще остается тем же обросшим существом, чудищем, живущим в пещере, поедающим все без разбору, истребляющим все без разбору, зависящим от желаний показать свою силу, обладание и власть, не имеющим покоя, покуда он не достигнет желаемого, и до сих пор не осознавшим, что достичь сего невозможно. Глубоко в наших

<sup>1</sup> *Ridicule* (фран.) – смешным, нелепым, глупым.

душевных формулах сидят буквы и знаки с обозначением звериных начал, страха перед чем-то новым, неприятия неизвестного. Глубоко в нас сидит негласный протокол не давать шанса слабым и глупым, дабы в будущем землю населяли лишь сильные и разумные. Мы так устроены, мы сердцем, нюхом зверя чуем слабого и не даем ему шанса выжить. Кто знает, займи я место вожака класса и окажись рядом со мной гном ростом в четыре фута, был бы я хоть каплю снисходительней? Едва ли. Никакое высокоразвитое нравственное чувство не остановит азарт охотника, взывавший в крови.

С горьким осознанием молчаливого согласия Соня отвернула лицо, вспоминая, как говорила Даше, что отсталого учителя им в гимназию посадили только из жалости.

– Наверное, мне подошло бы тогда прыгнуть и разбиться, чтобы не занимать место на земле более сильного и умного.

– Нет, нет, Григорий Львович... Гриша, нет! – Соня сжала его руку так сильно, что потревожила свой порез.

– Что же я такое теперь? Кто я? Никто, тень, переползающая из одной книги в другую, клоп, живущий чувствами вымышленных персонажей, обладатель кучи бесполезных знаний, вроде партитуры «Реквиема» Моцарта или шведского языка, но не имеющий никаких практических навыков выживания среди людей. Единственно, может, польза от меня вашей лавке? Живя жизнью книжных героев, я и не заметил, как сам превратился в персонажа. Вашей миниатюры или книги, которую пишет Господь Бог, решивший ни в чем себе не отказывать и ниспослать мне самые нелепые приключения. Глядит он с небес на то, как бесполезный червь барахтается, пытаюсь спасти свою жалкую шкуру, и ухмыляется, ждет, когда же иссякнет его дерзновение.

– Но ведь это ошибка! – всхлипывала дрожащими губами Соня, утирая слезы, на самом деле возражая самой себе и мысленно себя оправдывая. – Ошибка в шесть лет не делает вас ни слабым, ни тем более глупым и бесполезным. Вы пытались жить в теле человека, которое старше головы. Я даже представить себе не могу, каково это! Вот Даша удивится, когда узнает, что ваш диагноз ошибочный и вам всего только девятнадцать, что вы сами еще должны учиться в гимназии. Но вы ведь окончили и гимназию, и университет... в семнадцать! Вы очень старались быть как Моцарт, Ломоносов, Гаусс... И это получилось. Если вашу историю предать огласке, вы прославите гением.

Данилов улыбнулся сквозь слезы, не стараясь скрыть их, ибо это были слезы избавления. Когда он мог вот так запросто беседовать с кем-то живым, настоящим, не убегая в воображаемые странствия?

– Я бы с превеликим удовольствием утер нос вашим подружкам, но, если я откроюсь, это может сыграть против меня. Я должен выяснить все обстоятельства своей семейной тайны... А вдруг наша догадка несостоятельна? И на самом деле я по-прежнему двадцатипятилетний площадной уродец? Я должен выяснить, кто на самом деле эти мужчина и женщина с фотографий, кого родила та светлокудрая мадонна между 1881 и 1882 годами. Живы ли они, если все же нет, то как умерли. Уверен, ответы на эти вопросы прольют свет и на то, кто хочет моей смерти.

– Я могу вам помочь.

Соня решительно притянула к себе несколько карточек из отсыревшего альбома. На одной был запечатлен фасад поместья, окруженного соснами, на другой – беседка, внутри которой расположилась семья Данилова, на третьей – темная стена сосен и два малыша, резвящихся в траве. Она решила рассказать, почему выпавшая из альбома фотокарточка привлекла ее внимание с самого начала.

– Я знаю этот дом. Вот, например, беседка, где меня угощают чаем. А это – аллея, которая ведет к дому. Сейчас здесь живут мистер Тобин и юная мисс Тобин, которых я никогда не

видела. Но юная мисс – одна из наших частых покупательниц. Ее адрес: Кокенгаузен, поместье «Синие сосны». Три часа на поезде на юго-восток.

– Кокенгаузен? – Данилов недоуменно воззрился на Соню. – Где же там может быть усадьба?

– Там, где Перзе впадает в Двину, ворота почти у самого кладбища.

– Живописная деталь – кладбище, – ухмыльнулся Данилов. – Но я в Кокенгаузене не бывал... Помните, мы недавно говорили о польско-шведских сражениях там?.. – Григорий Львович запнулся, видно, посчитав, что начинать сейчас лекцию по истории совершенно неуместно. Соня не могла скрыть довольной улыбки: теперь учителю небось совестно умничать, но быстро вспомнила свое раскаяние и пожалела его.

– Его еще поляки взорвали, когда Карл XII наступал, – подхватила она.

– Я это и хотел сказать. Не могу поверить, что там есть что-то, кроме развалин и парка Левенштернов.

– Есть, правда, подъездная аллея заросла кустами, превратившись в каменистую тропку. И стена поместья теряется в развалинах. Если папенька собрал для нее книги, завтра... то есть уже сегодня, – и оба вскинулись на большие настенные часы, показывающее четверть пятого утра; окна светлели рассветом, – мы можем съездить и поглядеть. Но лучше спозаранку, далеко очень.

## Глава 5. Штабс-капитан Бриедис

Соня бежала домой по бульвару Наследника, по дороге соображая, что скажет отцу. Мол, Настасья Даниловна не отпустила в ночь пешком. «Хорошо, что у доброй дамы нет телефона и папенька не станет той с тревогой телефонировать», – говорила себе Соня, осторожно ступая мимо большого здания Латышского общества, цепляясь за ограду палисадника, порой приседая и прячась за кустами роз, когда появлялся очередной, хоть и редкий в утренний час, прохожий. Рассветное солнце золотило каменное строение с колоннами, двойной лестницей и арками, на лепестках и бутонах вспыхнули искорки росы. Зажав под мышкой дневничок, Соня на минуту перегнулась через чугунную ограду, чуть смочила руку в росе – надо было оттереть кровь с пальцев – и зашагала к магазину.

Ей часто приходилось разносить заказы после учебы, порой Соня оставалась на ночь у многочисленных знакомых отца и матери. Если такое случалось, Николай Ефимович садился за чтение в кресле у витрины, дверь магазина не запирали на замок. Все знали, что он дожидается возвращения дочери. Некоторые из соседей качали головами, предупреждая, что город ночью опасен, но Соню невозможно было остановить. В душе она была яркой эмансипанткой и суфражисткой, мечтавшей когда-нибудь права женщин увидеть установленными вровень с правами мужчин. Сколько можно ставить женщину – сильную и решительную – в такую неловкость, при которой она непременно изворачивается и по-женски хитрит, для того чтобы делать, что должно по чести и совести? Сколько можно ощущать на себе соседскую неприязнь при одном только шаге от устаревших традиций? Соня мечтала, чтобы общество прекратило свое лицемерие по отношению к одним и увидела наконец достоинства других. «Всяческая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир, человеческие отношения к самому человеку», – писал Карл Маркс.

Николай Ефимович не мог не уважать ее мысли и выбора, тем более что мысли эти совпадали с мнением Маркса, к которому он питал большое почтение. Сверх того, он не имел ничего против энергичных женщин, и даже женился на одной из них. Свой след накладывала и работа с литературой. Человек, читавший столько книг, сколько читал Каплан, имел столь широкие взгляды на жизнь, что невольно стал принимать как данность любые взгляды, любую небывальщину, даже каннибализм, нигилизм, метемпсихозы, инквизиторские войны и суфражисток, следуя завету Шекспира и находя логику во всяком земном явлении.

Тихо подкравшись, Соня глянула за стеллаж: отец дремал в кресле у столика с включенной лампой под темным абажуром, на коленях его лежал раскрытый «Дон Кихот», за спиной расправила крылья монстера. Услышав звон входного колокольчика, он тотчас же выпрямился, подхватил соскальзывающую книгу, принялся протирать глаза под очками.

– Доброе утро, папенька, – шепнула Соня, нырнув между стеллажами, чтобы отец не успел разглядеть ее ужасного вида, и умчалась наверх.

В спальне Соня заперлась изнутри на ключ и привалилась к двери. В маленьком государстве барышни Каплан всегда царил беспорядок. Кровать с прикроватной тумбой, заваленной книгами, комод, на котором вместо щеток и шкатулок тоже возвышались тома и фолианты, ярко иллюстрировали явление беспощадной энтропии. Стену оживляло единственное украшение – скрипка с перетянутыми для левой руки струнами, висевшая над изголовьем, как распятие, – тяжелое напоминание о брошенных в третьем классе уроках музыки. Соня была левшой и так и не смогла добиться в игре на инструменте успехов. В небольшое полукруглое окно лились янтарные лучи утреннего света, высвечивая армию пылинок, устремившихся от фрамуги к стопкам покоившихся прямо на полу книг. За стеклом укоризненно качали ветвями зеленые акации.

Быстро зашторив окно, Соня сунула дневник в портфель и скинула грязную форму, припятав ее под зимним пальто, давно грустившим на углу комода в обществе собрания сочинений Сервантеса на испанском, который Соня не знала, но, бывало, истязала перед сном. Оставив на себе дневную сорочку, панталоны и гольфы, к ужасу, вспомнила, что по словесности задали сочинение по Островскому, по алгебре какие-то задачи, а еще надо было пойти к Екатерине Васильевне, учительнице по географии, и ответить прошлый урок.

Так, прямо в панталонах, уселась на кровать, разложив вокруг себя учебники, а под тетрадью сунув красочное издание «Необыкновенные путешествия», включавшее кучу романов Жюль Верна. Через час сочинение было написано, сразу набело с одной помаркой (а, пусть, большего не успеть!), задачки решены, урок по географии повторен.

Потом из комода были вынуты старая штопаная форма и второй черный фартук, подаренный тетей Алисой, но ни разу не надеванный. Соня застегнула все крючки, собрала волосы в корзинку на затылке, пригладила выпавшие волоски у шеи.

Завернув в кухню, она поморщилась, с неодобрением покачала головой, окинув взглядом стол, что вчера накрыла к ужину, – все стояло так, как она оставила. Ветчина и сыр заветрелись, хлеб подсох, язык испортился и издавал запах, будто в кухне травили мышей. Судя по всему, и матери не было ночью. Та должна была к концу мая сдать одной купчихе три платья непростой работы.

Вниз Соня спускалась, уже размышляя над тем, какими изданиями или каталогами можно прикрыть внезапное желание посетить развалины замка Кокенгаузен, где обитала таинственная мисс Тобин, если ее заказ не был еще собран.

– Как поживает Настасья Даниловна? Ты хорошо добралась? Надеюсь, не ждала конки? – Отец нетерпеливо поджидал ее у самой лестницы. – Я всегда прошу тебя, потратить лишние пять копеек и возьми одноместного извозчика.

– Да, папенька, я как раз извозчика и брала. Попался знакомый, представляешь, расспрашивал, какие книжки я везу на этот раз. Пришлось ему пересказывать сюжет «Монте-Кристо». Он отчаянно охал на судьбу бедного Дантеса.

– Хорошо, – с каким-то тяжелым привздохом сказал Николай Ефимович. – Хорошо.

– А вот о тебе, папенька, того же сказать не могу. – Она погрозила пальчиком и подхватила с края прилавка стопку книг, лежавшую как попало, видно, оставленную кем-то из покупателей. – Ты вчера к ужину и не прикоснулся.

– Тут такое было... – вновь вздохнул отец, запустив дрожащие от волнения пальцы в седеющие волосы.

Соня почувствовала, как подогнулись ноги, она оставила стопку книг и одной рукой схватилась за книжную полку рядом, неловко сдвинув четыре тома Мольера внутрь.

– Вчера здесь была полиция.

Мольер попадал на пол. Соня, ощущая темноту перед глазами и свинцовый привкус ртути, присела, чтобы подобрать фолианты.

– Хорошо, что ты вчера ушла. Это ужасное событие. Это просто из рук вон... На нашей улице! Всю ночь здесь была толпа, только разошлись.

– Что т-такое, папенька, стряслось? Мама где? Мама цела?

– С мамой все хорошо, она будет к обеду, забежала вчера на четверть часа, едва ты унесла заказ. Убили учительницу из вашей гимназии. Убили здесь, рядом... в Латышском театре, прямо во время представления. Еще в вечер четверга... А я-то думал, отчего здание Латышского общества закрыто?.. Сначала ничего не понятно было, а вчера, когда ты ушла, ее вынесли... Ах, какое горе! Такое зверство... Узкое сапожное шило воткнули прямо в печеньку. Она и не вскрикнула. И, может быть, уже была мертва... Вся обескровлена. Сидела в партере, откинувшись на спинку.

– Камилла, – одними губами прошептала Соня, прижав черный переплет Мольера к груди. – А кто приходил дознание вести? Арсений?

– Да, Арсений... Теперь уж Арсений Эдгарович. Он переменился после Николаевской академии.

– Что-нибудь про м-меня говорил? – Раз уж погубили учительницу, стало быть, выходка с табельным оружием будет обнародована и не избежать глупой-глупой будущей писательнице и несостоявшейся частной сыщице Соне Каплан участи арестантки. Арсений безжалостно ее арестует. Из свойственной ему вредности.

– Говорил, чтобы я тебя не пускал по городу с заказами. Нехороший, сказал, это случай. Возможно, работа маньяка, который непременно будет убивать снова.

– Это Арсений такое сказал?

– Да.

Соня фыркнула, уже имея в уме фразы с опровержением его вердикта. Но вот незадача: с тех пор как тот получил назначение в полицию, Соня ни разу его не видела. Не были в магазинчике ни Бриедис-старший, ни его сын уже порядком года два. Соня поймала себя на обжигающей мысли, что не помнит даже, как Сеня выглядит. Папенька часто с привздохом поминал академию, в которую Бриедис-младший отправился учиться, но разговора не заводил, почему он стал вдруг таким чужим и избегает общества семьи Каплан. Соне было совершенно все равно, она держала на парня обиду. Последний раз она отправила ему открытку на Рождество с замечательной книжкой в подарок три года назад, на что Арсений ей не ответил. После чего и решила, что очень даже хорошо, что он исчез, по крайней мере, ее перестали припугивать предстоящим замужеством.

– А можно я к нему быстро сбегая? – отчего-то вдруг решив исправить свою оплошность и повидать друга детства, попросила Соня. – Тут ведь через улицу? В первом доме полицейская часть, на Парковой.

– Зачем это тебе, Соня? Не нужно занятого человека отрывать от дела. Да и рано еще. Присутственные часы еще не наступили. Собирайся-ка лучше на учебу.

– Я уже готова! Я... я хотела бы рассказать ему про Кам... учительницу. Я ее знала. Всякие сведения делу полезны.

– Соня, это убийство. Не нужно играть в сыщиков. Когда ты уже повзрослеешь? Восемнадцать стукнуло.

Повзрослеешь! Это слово больно царапнуло сердце девушки, напомнив о страданиях Данилова. В свете ночных откровений бедного учителя излюбленный упрек отца показался холодной насмешкой. Она поджала губы:

– А вот выйду замуж за Арсения, как ты того хочешь, и повзрослею, коли тот одолжение сделает – попросит руки убогой. Будет вам обоим радость, – и, развернувшись, зло впихнула Мольера на полку.

– Соня, Соня. – Николай Ефимович двинулся меж стеллажей, издав вздох, полный горького сожаления. – Я пойду немного посплю. Я ждал тебя, бодрствуя, до трех часов ночи. Устал. Позавтракай сама.

– Иди, папенька, я пока цветы полью и заказы рассортирую. Сегодня суббота, уроков мало.

Перед самым выходом в гимназию Соня столкнулась с Мильке, поставщиком книг, бывшим на одноместном экипаже, позади которого плелась груженная свертками подвода.

– Нет ли посылки с последними романами Жорж Санд? – запыхавшись, спросила она. Поставщик заломил шляпу на затылок и улыбнулся:

– Есть, – и, спрыгнув с подножки, отвесил шутовской поклон, шляпой сметая пыль у ног девушки. – Мадемуазель будет рада узнать, что у госпожи Санд было написано продолжение «Лукреции Флориани» – «Замок в пустыне». Я взял ее для вас.

– О, Роман Францевич, благодарю. А более никаких ее книг не привезли? В списках было еще три.

Таинственная мисс Тобин заказывала книги только на английском. В последнее время полюбила читать покойную госпожу Санд. Книг на русском она не читала. По крайней мере, в лавку Каплана не поступало ни одного заказа книг на русском языке.

– Только «Замок в пустыне»-с. Но, если надо скоро, – достанем.

Соня поблагодарила Мильке улыбкой и понеслась в гимназию, не переставая размышлять, комбинировать идеи и представлять, как они завтра с Даниловым отправятся в Синие сосны. Все, что Соня знала о таинственном, скрытом в развалинах поместье в Кокенгаузене – оно лежало сразу после кладбища со старыми квадратными крестами и мшистыми надгробьями и что его содержали англичане. Книги принимала экономка. За трехчасовую тряску в поезде и поставку нередко тяжелой поклажи она давала Соне в качестве чаевых полуимпериал. Таких у Сони набралось уже двенадцать.

В школе царило смятенное возбуждение. Классные дамы с тройным тщанием гоняли учениц, не давая им задерживаться в коридорах на переменах между уроками. Субботний день был коротким. Соня с трудом высидела Закон Божий с нудным бормотанием отца Анисима, еще не старого, но со своей апостольской бородой и унылым, сонным выражением лица казавшегося древним старцем.

Потом должен был идти урок живописи. Его перенесли в класс математики (верно, потому, что комната для живописи была опечатана полицией, тотчас рассудила Соня). Вместо Камиллы Ипполитовны пришла классная дама Варвара, приволокла голову Аполлона, села за учительскую кафедру и велела изобразить грифелем бюст.

Девочки нехотя достали рисовальные тетради.

Весь урок Соня больше работала ластиком, нежели карандашом, так ничего и не изобразив, и получила от Варвары выговор с обещанием оставить Соню мыть полы. Голова ее была занята раздумьями, а тут добавилось еще одно занятие: слушать и прислушиваться. Вся превратившись в слух, Соня втирала в бумагу ластик, пытаясь урвать частички перешептываний классной дамы с постоянно возникающими лицами на пороге класса и разговоров, порой раздававшихся в коридоре. Заходили врач, учитель математики, какие-то незнакомцы.

В школе велось дознание. Участковый пристав второго городского участка по очереди допрашивал весь штат гимназии, расположившись аккуратно в зале для живописи. Девочки сидели тише воды ниже травы. Все знали о смерти учительницы, и никто не смел обсуждать эту новость вслух. Но никто и не ведал, что именно она выкрала револьвер у кого-то из полицейских (а может, то был просто краденый или купленный в ломбарде? Хоть бы так!) и подложила его учителю истории.

Григория Львовича Соня еще не встречала. Но он был в гимназии, она успела заглянуть на перемене в пустой кабинет истории, заметив знакомый портфель у ножки учительской кафедры.

Третий урок, проведенный здесь же, в этой комнате, сменился четвертым. Учитель математики был очень рассеян и вместо дискриминанта стал сызнова объяснять квадратные корни. Девочки ни слова ему не сказали поперек, даже не хихикнули. Соня обеспокоенно глядела на их сосредоточенные лица, не понимая: смерть Камиллы или же вчерашняя выходка с револьвером сделала их чрезвычайно покорными? Словесность прошла более или менее в прежней манере, преподаватель был из новеньких, пришел на замену почившему старому слепому профессору, месяца еще не прошло. Он остался равнодушным к смятению в гимназии и размеренно декламировал правила композиции, несмотря на шум беготни и возгласы из коридора.

После молитвы, совершенно позабыв зайти к географичке Екатерине Васильевне, Соня двинулась на второй этаж в кабинет живописи. Путь ей преградила синяя фигура классной дамы:

– Куда вы, Соня? В кабинет живописи нельзя.

– Там полиция?

– Да, участковый пристав. Он ждет учителя математики, который сейчас у доктора Финкельштейна, приходит в себя. Ему резко плохо сделалось.

Соня насупилась, тотчас задавшись вопросом, отчего это учителю математики вдруг стало так нехорошо, что его отхаживает Дашкин папенька? Какие он имел отношения с Камиллой? А может, это он револьвер Грише подсунул? Надо его на предмет честности прощупать. С квадратными корнями вместо дискриминанта он сегодня был весьма подозрительным.

– Раз Вениамину Савельевичу нехорошо, я тогда зайду? Можно? – Она уже потянулась к дверной ручке, скользнув рукой под локтем классной дамы. – Я тоже знала Камиллу Ипполитовну. У меня есть что сказать его благородию полицейскому.

– Негоже, барышня, мешать полиции работать. Вот когда учениц станут допрашивать, тогда скажете все, о чем спросят. – Классная дама выпятила грудь, заставив Соню отшагнуть, расправила руки, облаченные в пышные рукава синего платья, решительно защищая дверь всей мощью своей фигуры.

Тут дверь отворилась, и надзирательница получила по спине неприятный удар, чуть не навалившись на Соню.

– О, прошу прощения, я не хотел вас задеть, – под локоть ее придержал высокий темно-волосый молодой человек в мундире как вороново крыло, почти черного цвета. Сначала Соня не узнала его – стал на две головы выше, отпустил тонкие усы и бородку, но голову причесывал, как и прежде, аккуратно, волосок к волоску. И мундир носил с прежним гордым величием, только сменил его с юнкерского на полицейский.

– Сеня? – выдохнула девушка, обняв портфель и глядя на него снизу вверх: на двойной ряд начищенных пуговиц, на жесткий воротник-стойку, галунные погоны и португую.

– Разрешите представиться: участковый пристав гражданских и уголовных дел Рижской городской полиции второго участка городской части Арсений Эдгарович Бриедис, – и, по-военному стукнув каблуками, отдал Соне честь, шутливо, разумеется, поскольку голова его была без привычной фуражки – фуражки юнкера, как запомнила Соня. Он вырос, возмужал, лицо стало добрее, глаза смеялись. Кажется, он напрочь забыл о детских ссорах и рад был видеть Соню.

Классная дама стояла и молча, в непонимании взирала на встречу давних знакомых.

– Арсений Эдгарович – сосед наш, живет у цирка... – залепетала Соня, объясняя классной даме неловкую ситуацию, одновременно страдая, что именно сегодня пришлось надеть старую форму. – Я и понятия не имела, что ты... вы, Арсений, здесь... ведете это дело. Хотя папенька говорил нынче утром, что вы заходили в магазин. Жаль, я вас не застала.

– А как мне жаль, – подхватил Арсений в такой манере, будто они и не расставались на несколько лет, будто он и не думал избегать ее все эти годы. «Какой он, оказывается, статный, прямой, сильный. Вот уж не подумала бы, что так изменится после учебы. Совсем другим человеком стал – улыбается».

– Я бы вас не узнала. Почему вы забросили ходить к нам за книгами?

Арсений не удержался от извиняющегося взгляда в сторону надзирательницы.

– Я успел услышать, что вы шли сюда оказать следствию помощь, – оставил он без ответа вопрос Сони. – Вы знали Камиллу Ипполитовну?

– О-очень хорошо! И хочу помочь.

Арсений повернулся к классной даме и гордо, как-то по-особенному, по-военному, царственно, будто был по меньшей мере племянником министра или даже самого государя императора, наклонил голову. Настоящий офицер. Соня аккуратно прятала потертые манжеты старой формы под портфелем. Хорошо, фартук тети Алисы ей к лицу.

– Могу я задать ученице Софье Николаевне Каплан пару вопросов, пока есть свободная минутка?

Надзирательница мягко ретировалась, верно, попав под обаяние улыбчивого черноволосого офицера, и Соня была приглашена в залу живописи, временно превращенную в следственный кабинет.

Участковый пристав по-хозяйски расположился за кафедрой Камиллы, столешница была покрыта бланками протоколов, на углу лежала фуражка – не юнкерская, конечно, полицейская. Напротив был поставлен еще один стул. Жестом Арсений пригласил девушку сесть. Но Соня, войдя в кабинет и сделав несколько нерешительных шагов, остановилась, продолжая обнимать портфель и глядеть на нового, возмужавшего Арсения, ставшего, как и мечтал, полицейским, но почему-то каким-то далеким и другим.

Она начала вспоминать, о чем говорил отец, мама, соседи. В голове всплывали отрывки весьма странных слухов. Об Арсении не говорили как о полицейском, назначение которого стало доброй вестью. Его назначение не обсуждали с радостью на улице, об этом не кричали из окон, об этом не шептались в лавках. Она помнила, что Арсений служил в Казани. Вмиг перед глазами, будто яркая вспышка, встало название полка, в который тот был командирован.

– Разве не служили вы в Ахалцихском пехотном полку?

– В 162-м пехотном Ахалцихском полку, – улыбался Арсений как ни в чем не бывало. – Прослужил три года, получил штабс-капитана и теперь здесь, как и задумывал.

– Но разве папенька ваш, Эдгар Кристапович, не... не заругает? Как же ваша военная карьера? – выпалила девушка. – Он говорил, нарочно вас далеко заслал, аж в Казань, чтобы вы не вздумали исполнить обещанного.

– Ах, Сонечка, все так. – Арсений перестал улыбаться, но голову не опустил. – Отец был не рад моему решению служить в полиции. Так что мне пришлось по приезду поселиться в казенной квартире над участком. Там и живу второй год как. А вовсе не у цирка.

– Я совершенно ничего об этом не знала! Сегодня только поняла, как давно от вас не получала новостей. А вы живете через улицу. Как же так? Со мною и с папенькой вы ведь отношений не портили. Зачем же избегали?

И тут она поняла, что расспросы ее совершенно не деликатны, что отец Арсения переживал глубокое горе, когда сын разрушил все на свой счет мечты, оттого оба сторонились соседей, чтобы избежать пересудов.

– Я думал, вы на меня дуетесь, – по-прежнему делая вид, что ничего не произошло, отвечал Арсений, – что тогда не поддержал мысли стать сыщиком.

– Вот вам и наказание! Вы меня не поддержали, а вас – ваш папенька. Все квиты. Не будет Эдгар Кристапович долго обиды держать. Я вас простила давно, и он простит. А Эдгар Кристапович ведь нынче все еще в полиции?

– Да.

Она замерла, глядя на него, как маленькая девочка на статую Петра Первого, не скрывая радости, восхищения и чуточку досады, что с назначением такая неловкость вышла.

Внезапно дверь распахнулась, оба вздрогнули. В залу для живописи ворвался Григорий Львович. На миг Соне показалось, что он рассержен и взвинчен. В школе учитель истории не позволял себе растрепанных волос и расстегнутой тужурки. Под мышкой он держал портфель, отчего тужурка его смешно топорщилась в плечах, делая его похожим на включенного воровья.

Захлопнув дверь, он расстегнул сумку, вынул оттуда револьвер «смит-вессон» и двинулся на Соню и Арсения, немного выставив руку с оружием вперед. С тихим вскриком Соня бросилась за спину участкового пристава. Бриедис, расправив плечи, шагнул тому навстречу.

– В-ваш револьвер? – избегая смотреть в лицо, Данилов неумело протягивал оружие дулом вперед, очевидно, не подумав, что так его держать не стоит, хоть курок не был взведен, все равно наверняка опасно.

Арсений Эдгарович продолжал стоять, выпрямившись во весь рост и скрывая под маской бесстрастности совершенно естественно возникшее недоумение. Вероятно, тоже на короткое мгновение подумал, что невысокого роста взлохмаченный чудак собирался стрелять.

– Это же ваше табельное оружие, так? – настаивал Данилов, сделав еще один неловкий шаг боком.

Арсений перевел взгляд на предмет, которому был обязан появлением на допросе третьего лица. Долгую минуту он разглядывал револьвер на расстоянии. Потом взял его в руки. Это была русская модель «смит-вессона» с укороченным стволом в шесть дюймов, произведенная не в Америке, а в Туле, судя по его деревянной отделке в виде щечек. Вчера Соня не успела его разглядеть. А теперь видела хорошо.

– Как он к вам попал? – Пристав переломил ствол, заглянув, все ли патроны в гнездах.

– Это сложно объяснить, господин пристав, – начал учитель истории, бросив отчаянный взгляд на Соню, прятавшуюся за спиной полицейского. – Давайте остановимся на том, что я его у вас украл.

Соня вырвалась вперед:

– Вы что же решили, Григорий Львович? Вот так обо всем молчать?

– Да, – коротко ответил Данилов.

– Что происходит? – Бриедис громко щелкнул стволом, поставив его на место. – Придется все рассказать. Вчера вечером я хватился своего оружия. Это не табельный револьвер – отцовский. Отец отдал его мне перед отбытием в Казань. В шесть часов вечера будет двое суток, как он исчез, мне пришлось бы бить тревогу. А он у вас, Григорий Львович. Почему вы откладывали визит в полицию?

– Я должен был забрать его у начальницы.

– Как вам удалось его забрать? – Соня побледнела, заломив руки; сердце предчувствовало недоброе. – Что вы сказали Анне Артемьевне?

– Я подписал свой уход. – Учитель выпрямился и вновь бросил на Соню взгляд, теперь уже преисполненный горечи. – Сказал, что, выпивши, не помнил, как сунул оружие в портфель, сказал, что прошу прощения. Анна Артемьевна отпустила меня без скандала.

– Зачем вы это сделали? Что же теперь с экзаменом? Как мы его сдадим?

– Григорий Львович, – оборвал Арсений Сонины причитания. – Прошу вас сесть на этот стул, – он указал на место по ту сторону кафедры, – а вас, Софья Николаевна, попрошу занять мое место.

Оба послушно сели. Разделенные кафедрой, они выглядели как два нашкодивших ребенка, опустили головы и обнимали свои портфели, будто дорогие сердцу игрушки. Бриедис остался стоять между ними, грозно скрестив руки на груди.

– Итак, я не спрашиваю, зачем вам понадобилось возводить на себя напраслину, Григорий Львович, брать вину за кражу револьвера, поскольку вы это сделали из благородных побуждений. Не так ли?

Данилов понуро кивнул.

– И совершенно напрасно. Кража из полицейского участка – это дело полицейского участка, и разбирательство мы вести по этому делу все равно будем. Так вот просто оставить это нельзя. Вам, Софья Николаевна, – пристав сделал пол-оборота к Соне, – совершенно нечего беспокоиться по поводу экзаменов. Григорий Львович не покинет гимназию и примет у вас свой предмет.

Данилов вскинулся. Соня тотчас поняла, что уходил тот из школы не только из благородных побуждений, он опять собирался бежать, а увольнение просто пришлось кстати. Но они оба уже были в плену у пристава, которому придется довериться и все рассказать.

– Я настаиваю. Это я взял оружие. Я должен уйти.

– В корпус следственной тюрьмы, – отрезал Бриедис. – Я лично препровожу вас туда, поскольку все, что вам остается после такого неслыханного признания, – это ждать решения суда за решеткой.

Данилов вновь сел на стул, вперившись невидящим взглядом в пол, и еще крепче прижал портфель к расстегнутой тужурке.

– Как револьвер оказался у вас?

– Я обнаружил его у себя в портфеле.

– Когда? Мне нужно точное время, по возможности.

– В начале урока у выпускного класса.

– У вас, Софья Николаевна? – Арсений, не расплетая рук, сделал механические пол-оборота в сторону девушки.

Она кивнула, кусая губы и лихорадочно соображая, с чего начать признание и стоит ли говорить Арсению все.

– Это было около одиннадцати часов пополудни, третий урок, – вставила она. Потом вскочила, заломив руки: – Арсений, вы должны выслушать все по порядку. Это очень скверная история, она просто невероятна, полна странностей, но... Григория Львовича хотят убить!

– Софья Н-николаевна, – Данилов резко поднялся, протянув в сторону девушки руку, останавливая ее, – вы не имеете права, я вам не для того... вы стали случайным свидетелем... это недопустимо! Это касается только меня и моей семьи!

– Вы не справитесь один, – взмолилась Соня, чувствуя себя предателем и негодяйкой. – Арсений не допустит, чтобы мы утаили что-то. Так или иначе, нам придется во всем признаться.

– Арсения Эдгаровича касается только детали кражи его револьвера.

– Но ведь украли его, чтобы вас убить и подставить Арсения Эдгаровича. А повинна в этом я. – Соне захотелось разрыдаться, но она вдруг вспомнила кичливую мордашку Сеньки-юнкера, который кривился, едва Соня начинала говорить, что станет сыщиком не хуже Дюпена. Да, она не сможет поступить в полицию, даже если пойдет против воли отца, как сделал это Арсений, но не оставит идею работать частным образом. И докажет, что женский аналитический ум стократ превосходит мужской! И однажды станет распутывать самые сложные преступления, читая лишь «Ведомости Рижской городской полиции», сидя в кресле своей книжной лавки.

Сдержав негодование за стиснутыми зубами, она опустила глаза. А потом открыла свой портфель и вынула дневничок.

– Я написала убийство Григория Львовича, – сказала она ледяным тоном, протягивая тетрадь приставу. – На самой последней странице, запись за четверг.

## Глава 6. Пристав Бриедис расследует дело Данилова

– Каплан, сядьте! – Данилов бросился со стула и силой вырвал тетрадь из рук Сони, напугав ее своей резкостью. Не ожидал Бриедис от болезненной мальчишки такой прыти.

Каплан отпрянула и спрятала лицо в ладонях. Неужто Григорий Львович на уроках распускает руки? Вон как, оказывается, его боятся гимназистки. Нипочем не подумаешь.

До сей минуты молча наблюдавший перепалку учителя и ученицы, Бриедис изготавился остановить Данилова. Но тот, завладев тетрадью, строгим учительским тоном продолжил отчитывать Соню. Пристав поймал себя на мысли, что не смеет его останавливать. Еще свежа была память обучения в академии, доведенный до автоматизма пиетет к преподавателям, а Данилов здесь пребывал в статусе учителя.

– Что вы себе возомнили, Каплан? – распалялся он, нервно стуча углом девичей тетради по кафедре и безжалостно портя желтую обложку. – Все вот из-за ваших записулек, которые вы позволяли себе делать на моих уроках. Посмотрите, чем все это кончилось? Сядьте сейчас же и замолчите. Теперь я буду говорить.

Он развернулся к приставу и отправил ему взгляд яростный, но в то же время затравленный, в глубинах которого ясно читались страх и желание бежать.

Бриедису всегда было жаль этого отпрыска Даниловых. Знакомство с ним он свел, когда только вернулся в Ригу и получил отцовский от ворот поворот. Дело о смерти Даниловых, больших промышленниках и меценатах, поручили вести ему, поскольку казалось оно на фоне пронесшегося тогда рижского бунта самым простым и очевидным. Старшему Данилову стукнуло семьдесят, супруге его – шестьдесят шесть. Первый умер от сердечного приступа, супруга же... А вот с супругой вышел странный случай. Едва пристав переступил порог дома, кухарка бросилась ему в ноги и обвинила младшего Данилова в том, что тот вылил целый бутылек успокоительных капель – опиумных, между прочим, – в стакан барыни и подал ей сей стакан недогнувшей рукой. Та через час преставилась.

Но было в показаниях сей особы столько путаных деталей, что новоиспеченный пристав решил провести небольшое дознание и допросил весь немногочисленный штат прислуги. У Даниловых служили горничная, кухарка, камердинер – бодрый старичок, до конца жизни Льва Всеволодовича ходивший за ним, менявший простыни, кормивший с ложки, и швейцар. Швейцар – отставной солдат, всегда при оружии – старом лефосе, который он ежедневно любовно чистил, заправлял.

Допросив каждого, Бриедис быстро составил картину гибели хозяйки. Сын был при ней, но к каплям не прикасался. Капли подала горничная, но клялась и божилась, что подала лишь бутылек и стакан, вышла и не видела, как Ариадна Александровна пила сии капли. Григорий Львович честно признался, что сидел напротив и смотрел, как мать опустошила склянку. Но он, видимо, находился в таком ужасном состоянии, что не мог ни встать, ни сказать слова против.

Бриедис допрашивал его в кабинете матери, где ее рвало кровью, где она билась в страшных судорогах и задыхалась на руках сына. Он рыдал, клял себя, обвиняя себя в ее смерти. Рядом был их домашний доктор, единственный человек, как заявил швейцар с лефосе, который был вхож в этот дом. Он подтвердил, что у Григория Львовича имелся какой-то сложный, замысловатый диагноз, он не всегда владел собой, но был покладистым и старательным. Погубить мать он не мог, но вполне мог не воспрепятствовать, если кто-то совершал преступление, потому как, оказываясь в острой ситуации, впадал в ступор.

Слова доктора ранили бедного сироту еще больше, в тот день Бриедис едва успел предотвратить еще одно самоубийство. Барчонок выкрал лефосе швейцара и уже приставил дуло к горлу, когда штабс-капитан оттолкнул безумца к двери и выбил из рук револьвер.

С тех пор Бриедис нет-нет да заходит к нему проведать, не натворил ли тщедушный чего в порыве отчаяния. Арсений не мог стать полноценной нянькой наследнику и следить ежечасно за его жизнью, не мог, к несчастью, и заставить взять хозяйство в руки. Данилов – а прошло почти два года – так и не утвердился в правах наследования как полагается, он сбросил семейные дела на приказчика, сам же пытался забыться, поступив в преподавательский состав одной из гимназий города.

Пристав говорил с доктором Финкельштейном, обследовавшим Данилова. Доктор с грубомысленным видом поведал о редком, недавно открытом ученым Лореном синдроме отсталости в физическом развитии. И добавил, что он сопряжен с расстройством нервов на почве трудностей, которые отстальные испытывают на людях.

Данилов не был глуп, его отсталость не коснулась рассудка. Напротив, Бриедис даже порой терялся в его обществе, не всегда мог подобрать столь же глубоких фраз, какими с легкостью сыпал, будучи в настроении, Григорий Львович, не всегда мог поддержать тему разговора, если тот уходил в дебри искусства, музыки, книг. Порой краснел и тушевался, ощущая себя мало не столь возвышенно образованным, но неловким солдафоном рядом с австрийским принцем. И даже принялся заново изучать «Илиаду», чтобы понять, кого Данилов нарекает Аяксом, а кого сравнивает с Патроком.

Мелкая фигура и втянутые плечи учителя совершенно не сочетались с начитанностью и знаниями.

Данилов окончил курс гимназии ранее сверстников на два года. Владел несколькими языками. Легко обращался по-английски к прибывшему откуда-то из заморья стряпчему, которому положено было заниматься бумагами покойных, прежде чем они перешли в руки приказчика. С доктором-французом Григорий ловко сходил на его родной язык. Он прекрасно играл на рояле и мог самозабвенно проводить за инструментом часы, наигрывая обожаемого им Штрауса, хотя утверждал, что не посещал музыкальных классов, а сие умение было лишь результатом упорного труда его домашнего учителя и маменьки, которая прежде хотела сделать из сына нового Моцарта. Но в детстве долгие уроки заканчивались плохо: принималась хлестать кровь из ушей – последствие какой-то детской травмы. Доктор запретил музыку, матери пришлось с тем согласиться, и Данилов занялся изучением истории, а за рояль садился лишь для души. Забавно, как только от него отстали с нотами, те сразу же сделались его отдохновением.

Для Бриедиса вскоре стало очевидным, что Данилов не так прост, каким хотел всем казаться. Пристав замечал, как он нарочно втягивал плечи, делал свой голос тихим, принимался говорить отвлеченно или подолгу никого не принимал, заставляя ожидать в швейцарской, пока не наиграется на рояле. Все это чтобы произвести впечатление человека старше своего возраста, но выходило изобразить заумного чудака и отвадить от себя людей. Лишь после случая с лефосе Данилов смягчил к полицейскому свое отношение, пускал в дом сразу, как тот являлся, не мучил Штраусом, сонатами Вокорбея или интермеццо Луиджи Керубини, о которых весьма любил порассуждать, чтобы не отвечать на прямые вопросы.

После и вовсе перестал держать позу и говорить с Бриедисом будто античный философ. И тому открылся другой Данилов – решительный, резкий, тайно увлеченный уроками фехтования, не пустой интеллектуал, знающий наизусть «Метаморфозы» Овидия и не к месту цитирующий Сенеку, но говорящий понятные, точные, хоть и мрачные, вещи. При Бриедисе он расправлял плечи и даже как-то прибавлял в росте, поднимал лицо и позволял своему взгляду быть спокойным и открытым.

Все это исчезало, едва присоединялся кто-то третий, и Данилов превращался в Карлика Носа, роль которого решил играть до конца, защищаясь этой маской от мира.

Мало-помалу Бриедис стал больше интересоваться этой странной семьей, закрытой, но в то же время ранее весьма состоятельной, чтобы при таких капиталах она могла позволить себе

совершенно не появляться в прессе. Имя Даниловых мелькало всюду: в магазинах сладостей, канцелярских товаров, красок, чего-то еще. Но когда пожилая чета скончалась, дело в газетах осветили лишь очень незначительным, крохотным некрологом. Даниловы были купцами первой гильдии, а Лев Всеволодович и вовсе из бывших офицеров, ротмистр Кавалергардского полка, оставивший армию ради промышленного дела, и бывший член клуба «Черноголовые». Они собирались приобрести право на дворянство, но не успели, что с их капиталами тоже удивительно. Казалось, расцвет их благосостояния замер несколько лет назад. Но когда? И почему? Неужто всему виной болезнь и странность сына?

Тот же ни в какую не желал ничего рассказывать приставу. Едва Бриедис подводил разговор к семейному вопросу, Данилов хватался за маску гауфовского персонажа и отгораживался от единственного, кому был готов доверять.

Здесь что-то явно было нечисто. И это что-то мучило и изводило самого Данилова.

Бриедис стал возиться с подшивками газет. Он перерыл множество печатных изданий сначала на русском языке: «Рижский вестник», «Прибалтийский край», «Лифляндские губернские ведомости», «Ведомости Рижской городской полиции», потом на латышском: «Балтияс веснисис», «Ауструмс», «Дзиесму пурс». Но за целое десятилетие ни одного упоминания о семье Даниловых, даже в полицейской хронике.

Так не бывает, чтобы пресса враз замолчала. Семье Даниловых кто-то помог уйти в тень. Кто-то очень высокопоставленный. Видно, потребовалось скрыть какую-то нехорошую историю, мучавшую Данилова-младшего и заставляющую его вести себя ненатурально и жить какой-то неестественной жизнью. Бриедис всего месяц служил приставом, но уже знал, как пахнут нехорошие истории. И успел настроить свой внутренний нюх на поиск этого отвратительного миазма.

Миазма преступления.

От Григория интерес пристава плавно сошел к интересу покойными детьми Даниловых – Марком и Евой. Несмотря на то что считалось, будто они умерли – одна в 1890-м, другой пятью годами ранее где-то в Болгарии, куда уехал добровольцем на войну с Сербией, – никаких более подробных материалов о их жизни и смерти Бриедис не нашел, кроме того, что они были близнецами. А когда его поиски стали заметны для всего участка, он был вызван в кабинет собственного отца в Полицейское управление. И Бриедис-старший, сделав акцент, что отчитывает совершенно чужого человека, одного из сотен подчиненных, велел сыну не лезть к Даниловым, если он не желает вылететь из полиции со свистом пули.

Но Арсений не остановился. Он успел выяснить, что Марк Данилов был отправлен в Оксфорд, в колледж Мертона, по рекомендации писателя Ивана Тургенева, получившего в колледже почетную докторскую степень. А сестра его училась в каком-то частном пансионе в сорока километрах от Лондона.

Она отучилась до своего совершеннолетия, а вот Марк с треском из колледжа вылетел. Вышибли за вольнодумство и беспутство.

Опираясь на 1885 год, Арсений приступил к более тщательным поискам, отправившись в библиотеку, расположенную в Ратуше, где хранились подшивки многих газетных изданий. В Латышском обществе тоже хранили газеты, там Бриедиса всегда встречали с распростертыми объятиями. Одно из первых открытых им преступлений было связано с редким изданием времен Тевтонского ордена. Обложка книги, украшенная рубинами и изумрудами, оказалась безжалостно изуродована. Выкорчеванные камни Арсений отыскал в одном из ломбардов, а уж через хозяина ссудной кассы, всегда готового пособить полиции, вышел на вора.

Тратя на поиски все свободные часы, все выходные, Бриедис сыскал всего-навсего два упоминания о Даниловых. Первое было в октябрьском выпуске 1885 года «Лифляндских губернских ведомостей», когда еще газета издавалась и на немецком, и на русском языках. Там имела колонка, повествующая о жесте величайшего благородства и самоотверженности,

о решении сына богатых промышленников Даниловых – Марка сделаться вольноопределяющимся и отправиться в Болгарию, где назревала война с Сербией.

Но не было указано, в какие войска, в какой полк или дивизию отправился Марк. Бриедис сделал пометку в записной книжке и вернулся к подшивкам.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.